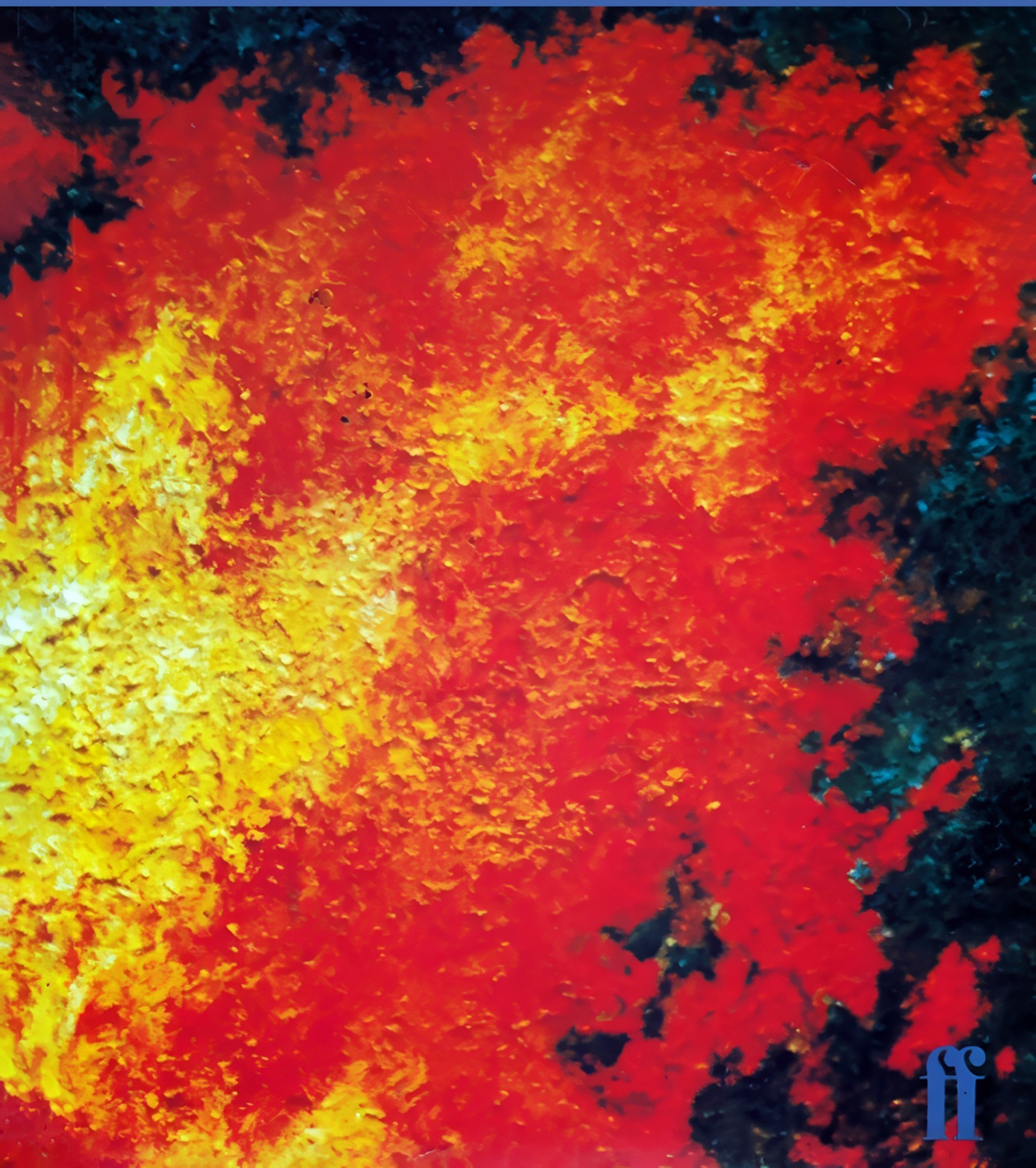
Тед Хьюз

Письма ко дню рождения



Тед Хьюз – Письма ко дню Рождения (1998)

"Стипендиаты Фулбрайта" / Fulbright Scholars

Где это было? На Странде, в пыли,
Между газетных оконных стекол,
Между событий, что шли ко дну,
Я вдруг увидел их — и замер.
Тот год. Новый набор. Чужие лица.
«Фулбрайтовцы». Едва сошли с борта,
Иль только сойдут… Иль часть из них.
Была ль ты среди них? Вглядывался,
Но не пристально — так, наугад,
Думая: «Кто из них мне попадётся?»
Помню тот взгляд. Но не твой портрет.
Хотя, конечно, искал в первую очередь
Девушек. Может, тебя заметил?
Может, скользнул взором: «Вряд ли…»
Запомнил волны твоих волос,
Чёлку, как у Вероники Лейк —

Но не тайну, что чёлка скрывала.
Блонд. И улыбка — шире, чем надо,
Американский, натянутый смех Для
камер, судей, чужаков и тех,
Кто страшит. Потом стёрлось. Но снимок
Врезался: группа, без чемоданов…
Странно. Неужто все разом пришли?
А я брел, измученный зноем,
Горячий асфальт жег подошвы.
Там ли купил персик? Да, вроде бы —
С лотка у Чаринг-Кросс. Первый раз
В жизни я спелый попробовал.
Сочная сладость — почти неземная.
В двадцать пять лет я снова был глуп,
Снова не знал, как мир прост и ярок,
Снова не видел, что смерть — за плечом.

Кариатиды (1) / Caryatids (1)

Что держали эти кариатиды?
Твой первый стих — как нож в тиши.
Единственный, где ты — чужая,
Где я не узнал любви.

Хрупкий, как лёд, бездушный и пустой,
Как чертёж капкана — сухой расчёт.

Я видел: ловушка не захлопнулась,
Безжизненна. Мне было невдомёк

Знаков тайных зов. Я в те дни искал
Лишь подтверждений — мне ль судьба благоволит?
И потому прошёл, не разглядев

Белое, слепое, каменное
Ликов этих женщин. Их дрожь, их тлен —
Выгоревший алюминий, пепел,
Стекло газового рожка. Но я

Не видел бездны — беззвёздной, тяжкой,
Гранитного неба, что в паденье
Их волосам удалось остановить,
Как вспышке фото — миг убить.

Кариатиды (2) / Caryatids (2)
Глупые с уверенностью, в игровых
Одеждах детства, всё растущие,
Всё в колыбели, в мягких носилках,
В нежной опеке природы, что медленно
К полнозернистости тянет нас — мы не думали
О судьбах, о смерти. Нас было трое,
Четверо, пятеро, шестеро —
Дружбу играли. Время гуляло,
Чтоб примерить любые роли —
Для смеха, для опыта, отдавая часы
Извращённым порывам, шарадам,
Бессмысленных импровизаций маскараду.
Как узники, настоящую жизнь
Мы откладывали — с настоящим
Миром и «я». Так, играя в студентов,
Мы наполняли и жадно осушали,
Снова наполняли и снова пили
Скуку, рог изобилья
Воздушной пустоты, коричневого
И жёлтого эля, созиданий и разрушений —
Боги, легкомысленны, без веры,
Каприза театр.

Так мы учились. Мир
Пересекал мокрые дворы в воскресенье,
Вежливый, в туристах робких ботинках.
Все дороги зияли, зияли слишком глубоко
На все стороны света.

Здесь, в центре паутины, на перекрёстке,
Ты опубликовала стих о Кариатидах.
Мы слышали о танце твоих светлых фат,
О вспышках жестов, о странном самопоказе.
Не укорять — а докричаться,
Не учить — а пробиться
Сквозь качели суеты,
Где высокая учёность
Смешана с низкими связями.
Мы сочинили разбор — не в назиданье,
А чтобы тронуть, смеясь.
Был валлиец наш автором — ещё глухой
К белому шуму элегии,
Что в уши, в рот ему хлынет
Через миры — на Кадер-Идрисе,
В ветре и снегу твоего последнего взлёта.

«Визит» /Visit

Лукас — друг, один из тех,
Кто, как второе «я», незыблем,
Как камень в струях речных,
Где всё течёт, но он — нетленен,
Стал другом твоим. Я узнал — и застыл.
В то время я молодость хоронил
В конторе под Слау, в тоске безответной,
Утром — в Холборн, вечером — Слау,
Копил на побег, на прыжок в неизвестность,
Где ветер сорвёт мой кокон намертво,
Где падаю в бездну, где нету запретов.

Но в выходные — рецидив:
Alma mater зовёт, как на исповедь.
Девушка, злясь на тебя,
Ты — её раздраженье и тайный позор,
Тихо в меня подливала яд: Подсовывала
фото — и не понимала,
Что бензин подливает в мой тёмный костёр,
Где слепой я искал тебя в пепле и жаре.

С тем же другом, в саду, за полночь,
Мы лепили комья из мёрзлой земли,
Швыряли в окно — и он, пьяный, кричал,
Что это твоё. Я, на половине вина,
Не знал, что ошибся. Не знал, что уже
Режиссёр мне назначил роль в твоей пьесе —
Я пробовал жесты, как кукла на нитках,

Как лапка лягушки в разряде тока,
Как тень на стене между светом и тьмой.

Я плясал. Но судьёй была только тьма,
Только звёзды, да холод, да ветра песнь.
Не зная тебя, незнакомый тебе,
Я целился в призрак — и снова мимо.
Бросал в пустоту, в стекло, где никого,
Где не было тебя — ни тогда, ни потом.

Десять лет после смерти. Твой дневник.
Страница. И вот — ожог:
Ты обрадовалась, узнав про тот вечер.
Потом — исповедь, молитвы,
А под ними — дрожь:
«А вдруг Бог не услышит?»
А под дрожью — кошмар,
Что катится, давит, как бульдозер:
Старая боль и новая пытка
Слились в ад, где мы были.

И вдруг — твои слова,
Те, что шли из гортани, с губ, на бумагу...
Как тогда дочь вошла,
Где я в пустом доме сидел за работой,
Взглянула и спросила:
«Папа, а мама... где мама?»

Я рвал мёрзлую землю.
Вокруг — только лёд,
Только звёздный циферблат.
Но где-то внутри,
Где хотел не чувствовать,
Где пытался забыть,
Где немела душа —
Бился пульс, как сигнал из глубин.
Там, под грудой снегов,
Наше будущее пыталось пробиться.

Я взглянул — будто голос твой здесь,
Будто время взорвалось,
Будто завтра ворвалось в меня.
Но — лишь книга, лишь строки, лишь буквы.
Ты мертва десять лет. Это — просто рассказ.
Твой. Мой. Наш.

«Сэм» / Sam

Для тебя всё было просто —
Белый жеребец, могучий Сэм,
Вдруг решил: «Хватит!» — и, вздыбив гриву,
Рванул домой, сквозь боль и тень.

Твой шок, твой страх, твоё «Конец!» —
Я знаю. Стремена — долой.
Он мчит, как вихрь, по краю бездны,
По белой нитке мертвых зон.

Поводья — прочь. Седло — пусто.
Вцепиться в шею, стать мольбой —
Или сорваться в чёрный омут,
Где ждёт асфальт, холодный, злой.

Ты скользишь, как плеть под ветром, Жокей,
повисший вверх ногой.
Между тобой и бездной чёрной —
Лишь мельтешение копыт,

Лязг подков, как гром проклятий,
Рокот ада под землёй.
Где-то рядом — счастье дышит…
Был ли шлем? Ты — как листок,

Что вцепился в скалу руками,
Обезьянка с сердцем в пятках.
Что спасло? Быть может, строки —
Те, что в шею впились, как когти,

Те, что в теле — как канаты, Что
качались над бездной рваной. Ты
не видела — лишь пятна,
Велосипедиста маску

С перекошенным лицом страха,
Щит из стали над костями.
Я чувствую, как дрожь твоя
Сквозь года бьёт в меня.

Как ты держалась? Ты — не смогла бы.
Что-то в тебе — не ты — схватило.
Ты висела, почти бездыханна,
Пока он не встал в стойло.

Тот галоп был только прологом,
Только намёком, только тенью.
Когда я взял барьер — ты сжала мне горло,
На миг… и — вниз.

Ты бросилась под копыта,
Под ноги, в пыль, в небытие.
Ты толкнула — я упал.
Ты лежала. Всё. Конец.

«Уязвимое место» / The Tender Place
Твои виски, где пряди спутаны густо,
Были уязвимым местом. Но однажды,
Чтоб проверить заряд, я чиркнул по ним
По клеммам батареи — грохот ада
Рванул, как в горле крик. Тебя — на крюк.
Тебя — под ток. Чья-то рука без дрожи
Молот громовой в твой череп вбила.
В халатах белых, с лицами мела,
Они сновали,
Чтоб проверить, как ты — в ремнях.
Целы ли клыки?

Рука на рычаге с циферблатами
Снова не чувствовала ничего,
Лишь «ничего» — и это пытка,
Где даже мурашки — свято. Ты —
Как туча,
Рождённая для молний. Я видел:
Дубовый сук — бац! — и нет его.
Ты — папина нога. Сколько раз
Этот бог, рыча, хватал тебя
За корни волос? Протоколы
Растаяли, как дым. Что взмыло
В ничто? Где громоотводы,
Рыдая, лили медь,
А нервы, как дети в пожаре,
Сбрасывали кожу,
Бежали от вспышки. Тебя —
Как согнутую проволоку —
Швырнули на сеть Бостонских проводов.
Свет в Капитолии
Померк,
Когда твой голос рухнул в провал,
В подземную тьму.

Вернулся — спустя года —
Пересвеченный, как снимок:
Карта мозга в пятнах пепла,
Шрамы отступлений,
Следы поражений. А слова —
Лица, отвернутые от солнца, —
Хранят в своих недрах
Осколки молний.

«Сент-Ботольф» / St Botolph's
Наш журнал был лишь прелюдией
К ночи и к вечеринке. Я предсказал
Разоренье — неизбежность,
Как в книге Прсперо сказано.
Юпитер с полной луной в союзе,
Но Венера в оппозиции. Разоренье
По той книге. Особенно мне.
Сожжёт моё Солнце это схожденье.
Венера — в зените, как гвоздь.
Но астролог-любитель — ну и что?
Взмах крыла летучей мыши — и нету беды.
Наш Чосер с Дантом сидел бы дома,
Высчитав планеты точнее,
Глубже вдумавшись. А я? Я бросил
Пусть серьёзные астрологи дрожат
Над этим союзом, что Солнце моё
Связал с твоим Марсом. А Чосер
Указал бы на Солнце в Рыбах,
Что встало точно в твой Асцендент,
Против моего Нептуна — и вмерзло
В мой десятый Дом, где слава и грех.
Наш Чосер, я думаю, вздохнул бы.
Качнул головой и сказал бы нам,
Что в тот день система звёздная
Обручила нас — знали мы или нет.

Фолкон-Ярд:
Подруга — как взведённый арбалет.
Звуковые волны рвутся в джазе Джо Лайда.
Зал, как палуба «Титаника»,
Немое кино под вой саксофона.
И вдруг — Лукас подстроил — вдруг ты.
Первая встреча. Первый кадр —
Неизменный, застывший во вспышке.
Выше,
Чем была потом. Стройная, гибкая,

Будто ноги — эти длинные, чёткие,
Американские — просто росли ввысь.
Твой жест — рука, как всплеск.
Пальцы — балетные, тонкие, обезьяньей грацией. А
лицо — сжатый ком счастья.
Я вижу тебя там — чётче, реальней,
Чем за все последующие годы —
Будто видел раз… и больше никогда.
Волосы — этот мягкий занавес
Над лицом, над шрамом. А само лицо —
Эластичный шар восторга
С губами, как у африканки — смех,
Густая помада. А глаза —
Сжаты, как горсть алмазов,
Яркие, яркие, будто слёзы,
Что могли быть слезами счастья, его же сдавленный крик.

Ты хотела сразить меня
Своей живостью. Но мало что помню
С того вечера дальше.
Я ушёл с той подругой. Ничего,
Кроме её шипенья в дверном проёме
И моего ошалелого взгляда
На твой синий платок в кармане,
И набухший круг следов от зубов,
Что месяц на лице моём красовался —
А под ним — навсегда изменившийся я.

«Выстрел» / The Shot

Твой пыл искал божества —
Там, где пусто, рождала ты
Из смертных кумиров, певцов,
Венчая их страстью слепой,
Как будто с рожденья сама
Была колыбелью для бога.
Ты — ловец богов. Ты — их плен.
Отец прицелил в небеса,
Но выстрелил — его курок.

Вспышка.
Вся жизнь — как мишень. Рикошетом
Ты мчалась сквозь славы пик,
Свинцовой яростью пули,
Что в полёте не теряет силы.
«Избранные» гибли в упор —
Слишком хрупки для встречи с тобой.

Призраки, тени, мечты —
Лишь звуковой барьер твоего
Сквозного пути.

Но под скомканным платком,
Где тонули твои «нет» и «да»,
Под сменой причёсок и масок,
За срывами, визгами, тьмой —
Ты летела прямо.
Ты — пуля в золочёной рубашке,
Серебряный стержень, никель на дне.
Траектория — в вечность. Даже шрам,
Будто след от удара о бетон,
Лишь придал тебе вращенье,
Чтоб не сбилась.

Но истинная цель —
Отец — скрылся за мной.
Бог с дымящимся стволом.
Я долго не знал, что ты
Прошла меня навылет,
Чтоб вонзиться в его сердце.
На моём месте колдун
Поймал бы тебя на лету,
Подбросил бы, остывшую, в ладонях —
Свободную. Без бога. Уснувшую.
А я сумел...
Лишь прядь волос. Кольцо. Часы. Ночнушку.

«Трофеи» / Trophies

Пантера? Ты в её пасти
Уж проплыла сквозь всю Европу,
Будто добыча, в когтях пустых —
Рот твой кричит... но крик застыл.
Позволяешь тащить. А истинную жертву
Зверь упустил. И слепые клыки,
Яростью сжав твою трахею,
Звук оборвали. Чернильный Роршах
Брызг на страницах дневника —
Словно бы крик, но в жилах воздуха
Рвётся, смешанный с кровью,
С адреналином боли,
Страха, отчаянья, злости...

Сорок лет спустя —
Запах зверя с сухих страниц

Шерсть на руке шевелит.
Озноб. Взгляд —
Сквозь янтарные очи твои —
Мгновенно впился. Ты откинулась, И
в лицо мне вонзилась пасть.
Большая кошка раз выбрала —
Не отпустит. Это химия страсти,
Горение самой судьбы.

Она прыгнула. Следы когтей
На листах. Да, это кровь
Твоя. Я смеясь принял
Её тяжесть. Разве знал я,
Что жертва, по словам уцелевших,
В ступоре пьяном застынет? Всё так же улыбаясь,
Пока она уносила меня,
Я вынул из пасти — бережно —
Твой обруч для волос
И серёжку... Мои трофеи.

«Восемнадцать Рагби-стрит» / 18 Rugby Street

Дом-лабиринт
Вот дом на Рагби — восемнадцать,
Где плесень, страсть и полумрак.
Я ждал тебя, как ждут напасти,
Как актёр ждёт последних врат.
Четыре этажа — четыре бездны,
Где любят, рвут, смешав тела,
Как в игре «Змеи и лестницы» —
Всё вверх-вниз, но нет числа.
«Напишешь книгу! — шепчет эхо. —
Здесь каждый гость — Тесей в цепях.
Ты в Кноссе!» Я смеялся звонко,
Но сам увяз в его стихах.
Тени подвала
Сидел один. Мой стол — верстак,
Где время точит резцы и сны.
А внизу — девушка, гриб-знак,
Чей муж — король ржавой стены.
Её тюремщик — пёс-кошмар,
Рвущий цепь сквозь дверную щель.
Он стерёг её… До той поры,
Пока газ не стал её постель.

Призрак Сьюзен
А Сьюзен — та, что в лабиринте

Встретит Минотавра-судьбу,
Чей голос в ночь, как колокольчик,
Не даст мне взять трубку. К гробам —
Три года в тьме, десять — в тоске,
Где наш с тобой свадебный след
Стал для неё смертельной пыткой…
Но в этот вечер — тьмы нет.

Твой приход

Ты ворвалась, как вихрь, как птица,
С глазами эльфа и стрелы,
С губами, что пахнут грозою,
С носом, что видел Аттилы.

Твоё лицо — не лицо, а море,

Где шторм, и штиль, и лунный свет.
Лишь утром — лик ребёнка,
Да шрам, как Божий след.
Парижские слёзы
Ты мчалась в Париж — искала его,
Верила в знаки, в рок, в сны.
А я был лишь грош на твоём пути,
Лишь страховка от тишины.

Но знал ли я, что твой дневник —
Крик, разорвавший небосвод?
Что ты рассыпаешь слёзы в прах
Между мостовых и высот?

Ночь в отеле

Мы падали в бездну, держась за руки,
Твой шрам мне шептал: «Я — печать».
А город кружился, как пьяный джинн,
Не смея нам правду сказать.
Ты — рыба. Ты — новый свет.

«Так вот она, Америка!» —

Вся — боль, вся — стих, вся — бред,
Вся — в пламени, вся — в метрике.

«Машина» / The Machine

Тебя сжирала тьма. Страх, как нож,
Разрезать мог в любой момент –
«Чёрной машиной», «Бездушной ложью,
Жерновом безжалостных перемен».
Алый закат догорал вдали, Эти
слова ты вплела в строку.

Они пришли, когда я – нет.
Ты звала меня наверх, в тоску,
Но в ответ – лишь леденящий мрак.
А я, быть может, просто сидел,
С Лукасом – пуст, как пёс без ног,
Что мне не снился, не глядел
В пустоту, шерсть дыбом встав.
А твой родительский уют – страшный клад,
Полу-казнь, полу-больница,
Джаггернаут из ненаписанных книг –
Беззвучно полз, как тень убийцы,
Сквозь ивы, сквозь стены «Якоря»,
Глотнул мой Гиннесс залпом – раз!
Чёрной пастью зевнул в меня,
Втянул в свой бред, в свой страшный сказ,
Где дом, и дети, и вся моя жизнь –
Где вечно лезу по ступеням,
Что стали камнем, в красный дверной провал,
Который ты – как я – откроешь,
И время ещё будет… но едва ли.

«Боже, спаси волка, на которого не лают псы» / God Help the Wolf after Whom the Dogs Do Not Bark

Вот он — лик ненависти, холодный и острый,
После эпох в пучине безликой материи
Ты явилась — и тут же пронзена остриём.
Ты дарила себя, ты ловила их взгляды, Рвала
сердце в клочки —

Словно в детстве, едва научившись ходить, Ты
к ногам чужаков припадала с рыданьем:
«Я люблю вас!» — но эхо молчало в груди.
Как плясала пред отцом в доме, где яд,
Где любовь — это жертва,

Где сахаром сыплешь в его горький бред,
Чтоб слаще горел.
Ты мешалась в его предсмертный пот,
Искала в себе ещё дар, ещё боль —
Будто с его уходом, будто во тьме, Ты,
восьми лет, в блёстках и в пыли,

Кружилась в пустом коридоре одна.
Ты шарила в мраке,
Спотыкалась, шептала: «Вернись!» —
Как тот, кто ныряет в чёрную гладь

За тонущей тенью — и, слыша, как время
Рвёт тишину на куски,
Пустилась в безумный, слепой хоровод.

Оксфорд нахмурился: «Клоун!
Ты портишь наш стройный чертог,
Где клеем схвачены строки,
Где каждый слог — как закон».
И, будто донос составляя в участок,
Прошипели: «Ты — не Донн».

Тебе всё равно. Ты б запомнила их?
Но день за днём
Они сыпали соль на страницы,
Вливали в кофе блевотину «истин», А
в письмах — крошево стёкол, Чтоб
ты читала глазами в крови —

«Нам не нужен твой бред,
Твой блеск уродлив, твой смех — Этот
вопль утопающей в чёрной воде, Этот
танец на краю,
Где ты ищешь хоть каплю любви —

Но всё, что найдёшь,
Они превратят в свинец,
В хохот, в грязь...
Ненависть — без причин».

«Верность» / Fidelity

Был кров. Я жил, как тень,
влекомый тобой, в двадцать пять лет, пьянея
от утра, от чувств, как от прилива, как от
нездешних сладких бед.
Дом Александры — выпотрошен, перелицован,
став столовой для нищих душ.
То были дни до моды на кофейни,
где ложки стук — как давний хруст сухих корост.
Но здесь — кипела жизнь, здесь быть значило светиться, и
девушки, что суп разли́ли в плошки,
жили наверху с толпой ночных гуляк,
где сон — как забытьё после дорожной тряски.
Я притащил матрас наверх — голый,
на голый пол, в пустую спальню,
где из окна — лишь Петти-Кьюри да каштаны
с липкими почками в мае.

Без работы, в долгах, я тратил всё на тебя,
как алхимик — на свинец и ртуть.
Свободный от Университета, но в плену его свободы, я
падал в ночь — и вновь тянулся к солнцу.
Каждую ночь я спал на том матрасе,
под одним одеялом — с ней,
с девушкой, сбежавшей от мужа
на фронт нищеты, в суповой батальон.
Какое рыцарство мной двигало?
Теперь мне кажется — то время не ушло,
оно во мне, как нераскрытый клад,
как недопечённый хлеб, как недопитый мёд.

Мы спали в обнимку — нагие,
как любовники, но не они.
Месяц ночей — и ни единого греха.
Священный закон возник из ниоткуда,
и она ему служила —
нежная, нагая, как жрица,
ведя пальцем по твоим следам
что ты когтями оставила на моей спине.

Она не звала, не манила, а
я не смел переступить
даже сестринскую черту.
И это было естественно —

ведь я был слеп для всего,
что не ты. Ты — солнце,
а всё остальное — тень,
где нет ни формы, ни лица.
Теперь я думаю — завидовать
себе тому или жалеть?
Её подруга — пышка с редкими зубами,
с хохотом, как звон монет,

звала меня в свою постель,
но я держал оборону —
боясь, что если сдам хоть слово,
рассыплется наш мир.
Я поднимал их — голых, юных,
укладывал, как жертвенных агнцев,
под порог нашего будущего...
Как встарь — чтобы дом стоял —
закапывали под порог
невинного ребёнка.

«Игра судьбы» / Fate Playing

Письмо заплутало — встретило гоблина,
Прошлое споткнулось о мечту.
Твой Лондон, как пестрый калейдоскоп,
Готов был рассыпаться в тусклую мглу.
Ты ждала. Но автобус с Севера,
Шумя, распахнул пустоту.
Как ты ни кричала, ни рвала руки —
«Где он? Ведь должен быть тут!»
Водитель лишь плечи сжал в ответ,
Слезам твоим не вняв.
Восемь вечера. Где-то в Англии
Я пропадал, как призрачный сплав.

Ты не бросилась в черный водоворот,
Где «Виктория» ревом полна,
Хотя знала — я должен быть там,
Где свет фонарей мерцает до дна.
Но нет. Я сидел в вагонной тиши,
Качался в ритме стальных колес,
Пока чей-то голос, спокойный, как смерть,
Не вывел тебя из слез.
Я вышел, ища тебя в толчее,
Внизу, у края платформы…
И вдруг — этот взрыв, этот вихрь, этот крик,
Этот шквал, разрывающий тьму!

Ты — как пламя, как боль, как вопль,
Лицо — словно расплавленный металл,
Руки, что хватают меня из небытия,
Словно ад отдал назад, что украл.
А за тобой — таксист, как бесенок, смеется,
Глядя, как ты, вся в огне,
Рвешься сквозь Лондон, сквозь время, сквозь боль,
Чтоб явилось чудо мне.
И оно явилось. Поезд, что шел
Не раньше, не позже — в тот миг,
Когда ты ворвалась, как буря, как бред,
Как последний, как вечный крик.
Это было знамение. Это был знак.
Это — боль, ставшая светом в крови.
Ты обрушилась на меня, как любовь,
Умноженная на сорок девять дней.

Как первый гром, что рвет тишину,
Как ливень, что точит гранит,
Как земля, что дрожит под ногами,
Как все, что болит и дрожит.
Как все, что не может не плакать,
Когда после долгой жажды
Небо, наконец, разрывается в клочья,
И мир — весь в слезах, весь в дрожи.

«Сова» / The Owl

Я вновь увидел мир твоими глазами,
Как станет смотреть на него твой малыш.
Твой взгляд превращал всё в таинственное:
Простые кусты — в пришельцев немых,
В легенды, в загадки, в зелёное диво.

Любой зверь, шагнувший из чащи на свет,
В твоих зрачках вспыхивал ярко, как знак,
Словно явился к обеду нежданно,
Словно упал посреди стола.
Даже утки — и те казались нездешними,
Их брачные игры — как сон наяву,
Как плёнка, что речка сама разматывала.
Как могут их лапки не чувствовать стужи?
Ты ловила мир, как слепой фотограф, —
Бездонные тени в кадре слепящем.

Я раскрывал перед тобой Землю,
Как фокусник — карты с узором чудесным.
Ты ж всё принимала с восторгом ребёнка,
Как мать, в первый раз прижимающая
К груди свою плоть, свою кровь, своё небо.
Твой смех опьянял, словно вихрь, словно пламя,
Во мне пробуждая былые виденья —
Те дни, когда сам я был юн и безумен.

А ночью, где Грантчестер тонет во мгле,
Я кроличьей тоской упивался, как ядом,
Сосал её с пальцев у чащи, где совы
Вопросами резали тьму. И внезапно —
Взметнулась, крылом задевая ресницы,
Приняв меня за мёртвый ствол.

«Розовое вязаное платье» / A Pink Wool Knitted Dress

В розовом шерстяном платье твоём,
где ничто ещё не затянулось пятном,

ты у алтаря стояла. День Блума.
Дождь – и единственный зонт, купленный сдуру,
был самой новой вещью при мне
всё прочее – старше трёх лет в войне.

Мой галстук – унылый, чёрный, как дым, был
лишь намёком на галстук, пустым.
А пиджак – трижды крашен, в потёртых петлях,
держался на честном слове, в заплатах.
Я – как жених из поствоенных дней:
не Принц-лягушка, а, может, свинопас,
что украл дочери сон золотой
из-под её маячных, светлых глаз.

Никакой обряд не смог бы стереть
этот насквозь пропитанный войной цвет. Я
был в своём «параде» – весь гардероб (лишь
одна запасная вещь напрокат).
Свадьба, как природа, жаждала скрыть…
Но если жениться – так в Вестминстер! Почему нет?
Дин объяснил, почему нет. Так я
узнал, что у нас есть приходская церковь –
Святой Георгий Трубочистов.

И вот – мы втиснулись в брак наконец.
Твоя мать (хоть ставка – дипломат США)
была и подружкой, и гостем одна,
даже – о щедрость! – моей семьей:
ведь они не слыхали ни слова о нас.
Я позвал лишь их предков на брак.
Даже ближайшему другу не смог
признаться, что тебя украл. А шафера
мы реквизировали – звонаря. Гротеск:
он в тот ливень детей усаживал в автобус, чтоб
везти их в Зоопарк! И звери в клетях ждали, пока
мы обряд завершим.

Ты преобразилась. Стройна, как весна,
обнажённая ветка сирени мокра.
Ты дрожала, рыдала от счастья, была
бездной, что Бога в себе собрала.
Ты сказала – раскрылись небеса,
и сокровища вот-вот низринутся к нам.
А я, вознесённый тобой, замер там
в странном напряженье – как будто в плену
у грядущего, полного чаянья сна.

В этом голом будничном алтаре я
вижу тебя –
как ты пытаешься пламя сдержать
в розовом шерстяном платье своём,
а в зрачках – самоцветы, что рвутся наружу,
как слёзы-алмазы, что в кубке трясут
и мне – на ладонь – высыпают уже.

«Твой Париж» / Your Paris

Твой Париж был, мне казалось, американским —
Я играл в твой восторг, притворялся.
Когда ты выпорхнула в вихре восклицаний
Из «Двух Континентов», смеялась,
И сквозь рамы картин — Моне, Ренуара —
Шла, запрокинув лицо в облака,
Под каштанами — тенью Хемингуэя,
Фитца, Миллера и Гертруды…
Но мой Париж хранил я от тебя.
Мой Париж был едва не немецким —
Столицей снов, где пули в камнях
Шептали мне: «Ты помнишь? Ты был
здесь…» Я знал каждый шрам на
набережной, Каждый солнечный след на
асфальте.
Я репетировал это вечность —
Пока ты звала меня Брюаном,
Рисовала крыши, смеялась,
А твой смех отскакивал от стен,
Где плакаты кровоточили клеем.
А я слышал контрабас войны
В скрипе стульев, где эсэсовцы
Курили, смеялись… Кофе ещё
Горчил, как жёлуди, а взгляды
Официантов тонули в осадке
Страха, предательства, злобы.
Меня не прельщали крыши —
Мой Париж пах пылью и кровью,
Шкафы хранили дыханье кошмаров,
Коллабораны в кафе пили вино,
А каждый второй прохожий
Был тенью из лагеря или Маки.
Я ловил призраков… Ветер
Нес метан из могил под Верденом.
А для тебя это было лишь штрихом —
Как пуля в портрете Аполлинера…
Твой взгляд превращал грязь в палитру,

Твой крик был поэзией, болью,
Твой язык — пожаром, что спасал
Тебя от сгорания в пламени.
Но для пса во мне — это был яд,
Дизель, горящий в горле.
Он жег мои нюх и разум,
Он скрывал подземелье —
Темницу, где ты ждала палача,
Где стены облезлые стали
Твоей содранной кожей…
Рядом со мной шла рана —
Живая, дышащая, кричащая,
Дрожащая от ветра, от шага,
От прикосновения. Ты же
Шептала смешные словечки,
Скрывая конвульсии под маской восторга.
Я читал тебя, как шифр,
Ошибаясь, не понимая…
Ты не говорила, что на каждом углу,
Сжимая мою руку, ты ждала,
Что сейчас явится Он —
И разорвет тебя в клочья.
Твой Париж был столом в пансионе,
Где письма ждали его напрасно.
Был лабиринтом, где ты бежала,
Роняя слезы на мостовую.
Был сном, где нет пробуждения,
Нет выхода, нет Минотавра —
Только боль, что тащишь ты вечно
По мостовой, где для меня
Лишь шрамы от пуль и история.
А я — просто пес, твой поводырь,
Ловил твой тремор, подставлял плечо,
Зевал, дремал и смотрел, как ты
Успокаиваешь себя рисунком —
Крыши, столб, бутылка, я…

«Ты ненавидела Испанию» / You Hated Spain

Испания пугала тебя. Испания,
Где я был как дома. Крово-красный свет,
Масляно-анчоусные лица, Африка
В чёрной окантовке вещей — тебе в ответ.
Твой учебник вычеркнул Испанию.

Ажур решёток, смерть и арабский бой.
Ты не знала слов — душа была пуста

Без знаков, и сварной слепящий зной
Сжёг твою кровь. Босх — его рука

Паучья — тянулась, и ты робко
Взяла её, как школьница-невеста.
Ты разглядела похоронный оскал Гойи,
Вздрогнула — и стихи твои, как жёсткий

Лёд, сжались. Паника вернула
Тебя в колледж, в Америку. А мы
Сидели, как туристы, на корриде,
Где быков неумело резали, слепые

Матадоры блевали у барьера,
Пряча дрожащий клинок. И рог,
Что впился, как овода жало,
В опрокинутого пикадора —

Проткнул то, что ждало тебя. Испания
Стала красным трупом из твоих кошмаров,
Швом ампутаций, что не украсил
Ни один твой учебник. Джу-джу

Земля за твоими африканскими губами.
Испания — пробуждение, что не придёт.
Я вижу тебя в лунном свете,
Ты бродишь по пустому молу в Аликанте,

Как душа, что ждёт парома,
Новая душа — ещё не понимая,
Что всё ещё в медовом месяце,
В мире, где счастье — будто на ладони,

Где вся жизнь впереди,
Где стихи ещё не написаны.

«Лунный след» / Moonwalk

Луны слепящий обломок.
Холм бесцветен и гол,
Свет полярный режет глаза.
Будто день вывернут наизнанку. Мир —
Фотография в негативе. Твоя маска —
Холоднее рубленой стали,
Скорлупа, сброшенная луной.
Тревожный, яростный лунный дьявол —
Где-то здесь.

«Мертвец живой» из баллады морской —
Словно с пенной, безумной зыби,
Мечет кости — чёрные, белые.
Сарацин волны, лик без пощады.

А слова твои —
Как пауки и жуки,
Что срыгнула сова.
Фосфорные, сине-чёрные,
Острые, как черепа летучих мышей.
«Когда-нибудь, — думал я, —
Пойму этот египетский бред,
Этот шёпот на языке лунных грибов».
Не буди лунатика! Пусть вина
Падет на оливы.
Чёрная кровь их теней
Застонет, как Авель.

Кто здесь? Вот вопрос: Кто здесь?
Доктор, что шутит, а сам
Смотрит, как больная угасает.
Что-то ещё крадётся под кожей дня.
Гримаса одержимости, оскал —
В кошмаре бы разорвал сердце.
Наяву —
Лишь терпения тест.
Как опухоль в пустоте,
Как луна из радия —
Разделась догола
Для операции.
Сбросила всё,
Кроме лунного света.

Что есть луна?
Сырьё для ковки,
Ещё не ставшее твоим талантом.
Или —
На рентгене тень обезьяны,
Ведомой девой,
Беспомощных в аду.
Луна считает это всерьёз —
Как смотрит на нож на кухне.

Я — комар в ухе раненого
Слона собственной слепоты.

Смотритель смоляного рва.
Вокруг —
Холмы, как лунная глина,
Звёзды меряют дозу наркоза.
Все мифологии — вне досягаемости.
Лодки с сардинами — там, у Кассиопеи.

Каждый камень — шифр,
Каждый след — руна.
Я не мог разделить твой путь —
Как не мог лечь
На жертвенный камень,
Который ты искала.
Даже представить жреца —
Не смел.

Я шёл рядом,
Будто впервые тебя увидел —
Тень собаки под луной,
Тихий след пса,
Что тебя признал.
Твои глаза
Были в своей стихии,
Но не понимали её —
Дрожали.

Как Кракен,
Всплывший из бездны,
Ты вбирала круг луны,
Звёздное море,
Небо, заваленное обломками,
Город у моря, отбелённый луной,
Полуостров-крюк, рассекающий
Два крыла пляжа.
Большая птица,
Упавшая у лазурных вод.

Море, как у де Кирико —
Синее, новое,
Блестящее, словно только что
Нарисованное для тебя.

Ты несла это всё,
Как осколки и шкурки на блюде,
Чтобы собрать
В стих, утончённый и хрупкий,

И надеть, как маску на карнавале,
На демона, что смотрел сквозь неё
Пустыми глазницами —
И всё ещё
Смотрит сквозь неё
На меня.

«Рисование» / Drawing

Рисование успокаивало тебя. Твой адский
карандаш — будто клеймо раскалённое. Предметы,
Корчась, обретали новые очертанья,
Застыв в последнем своём изваянье.
А я — освобождён. Покой. Время растворилось,
Когда ты рисовала рынок в Бенидорме.

Я сидел рядом, строчки что-то черкал.
Часы таяли. Торговцы подходили —
Смотреть, верно ли ты запечатлела их.
Мы сидели на ступенях, в вересковых сандалиях,
И были счастливы. Нашу туристскую новизну
Уже сдуло ветром — мы знали все тропы
Этого городка. Мы стали своими
Среди чужих. А продавец бананов,
Распродав всё, устроил нам концерт —
На банановом стебле играл, как на скрипке.

Толпа смеялась, хвалила твой рисунок.
Ты упрямо вела штрих за штрихом,
Пока не заперла в бумажный плен
Весь этот шумный мир. Вот он. Ты спасла
Наше утро, иначе канувшее в тьму.

Твоё терпенье, прикушенный угрюмо рот —
Они воскресили площадь, дремавшую
В Средневековье. Прямо перед тем,
Как вскрикнуть ей — и раствориться
В визге миллиона летних мигрантов И
стене ослепительных отелей.

А твоя рука уже нырнула под Хептонстолл,
Где тьма её держит вечно. Моё же перо
Бредёт всего в двухстах милях от твоей,
Храня этот миг: твой платок в горох,
Шорты, кофта (одна из тридцати,
Что таскал я по Европе), длинные ноги,
Подпиравшие альбом, — и тихий покой,

Который я пил из твоего сосредоточенья.

Теперь я пью этот покой из твоей тишины, Которую
никто из нас не нарушит —
Ни я, ни ты.

«Лихорадка» / Fever

Ты горела. Не шутка — огонь в крови,
Ты проглотила заразу. Лежишь
Беспомощна, в полубреду, в тоске,
Зовёшь аптечки Америки свет,
Мечешься в складках простынь, как в волнах
Неподвижной испанской каракки.
Дом — как склеп. Жалюзи — наглухо.
Но солнце, как страж, в щели глядит.
«Спаси…» — ты шептала, — «Спаси…»
Ты металась. Во сне — колодец,
Ты карабкалась в чёрный провал,
А проснувшись, рвалась к нему снова:
«Там прохлада… Там тьма… Там
покой…» Ты кричала, что смерть у
порога,
Что сгораешь дотла.

А я — суетился,
Раздувал свою роль до небес:
«Я — спаситель!» Во мне оживала
Мать — её твёрдый голос, её
Непреложный закон. Я варил
Овощной аквавит: морковь, лук,
Перец, томаты — эликсир
Всей вселенной. «Пей! Стань трубой,
Чтоб витамин С сквозь тебя
Прокатился, как Нил! Этот бульон
Вольтера спас от чумы!»
Я вливал в тебя жар этих трав,
Чтоб огонь потушил твой пожар.

Я кормил тебя с ложки, как птенца,
Вытирал твой расплавленный воск,
Твои слёзы, твой пот, твой испуг.
Ты глотала, рыдая: «Умру…»

Между глотков я смотрел на приборы —
Твой крик зашкалил, стрелка в красном,
Хуже некуда. «Неужели
Всё всерьёз? Или просто истерика?»

Я отпрянул — чуть-чуть, для баланса,
В скепсис, в холод, в мужскую игру:
«Если можно терпеть — что за вой?»
«Это просто микроб» — я лгал, —
«Не дай ему волю». Но мысль
Била в набат: «Хватит кричать „волки“!
А то поздно услышу, когда
Настоящий придёт».

Лёгкий холод
Полз по коже. «Орёт, будто ад
Уже здесь. Будто мир опоздал».
Потом — лёд. Лёд рыб под полыньей,
Лёд врачей, что устали жалеть.
Мысль, как червь, закрутилась в кольцо:
«Выбор — смерть. Без выбора — смерть».
Ты сгорала. Я — камень. Я — лёд.
Я варил суп. Ты пила кипяток.

«55 Элисли» / 55 Eltisley
Наш первый дом нас позабыл.
Я мимо проезжал — и видел:
Как мало следов наших сил,
Как будто нас там и не было.

Когда мы въехали, я ждал
Знаков судьбы. Но дом пустой,
Где вдова, к праотцам призвана,
Шептал: «Её окончен бой».

Лишь кровь её мужа — пятно
На подушке… Всё прошлое
Висело, как смрадное дно,
Как жир на ложках — острое.

Твой взгляд на Англию: морг,
Больница… Что-то умирает,
Что-то тлеет, как острог
Сквозь гарь, что стены пропитает.

Ты, взорвавшись, скребла полки,
Где копоть въелась, как зараза.
Я ж вглядывался в следы —
То ль изо рта, то ль с размазанной тушью…
Я первым ночь в том доме спал,

Где скорбь, как газ, стояла сирый.
Лишь труп да вдовий погост
Грелись на нашем новоселье.

Мы синий бархатный диван
Купили за десяток фунтов.
Наш скарб — как верфи океан —
Смыл грязь арендованных шунтов.

Мы верили: любой мираж
Не хуже правды в этом мире.
Уже за нами Альбатрос…
Ты — как антарктическая ширь

Меж мной и теми, кто был близок.
Ты — как торос, сковавший рты,
Чтоб не сорвалось: «Ах, капризный…»
Я принял вечные льды

Твоих метелей. Лишь две феи —
Доротея и Венди —
Сквозь марево мне улыбались,
Как призраки из-за стены.

Я шёл сквозь радужную тьму,
За нитью Патанджали следуя.
Рука в руке… Для меня — зима,
Наш первый лагерь. Свечкой греюсь.

Тебе ж — уют, как в иглу.
Твой Колокол согрет керосином.
Ты грела руки у стекла —
Там, в шаре, мир был необычный:

Новоанглийский снегопад,
Мама и папа — вместе снова,
И наше будущее… Ад
Ещё не стёр его основы.

«Уиджа» / Ouija

Всегда дурные вести от доски Уиджи.
Мы выложили алфавит, как венок,
Вкруг стола, где дымился кофеек.
«Да» — на краю, «Нет» — напротив легло.
Пальцы на стекле — средние, вяло —
Касались донышка. Смех угасал,

Сменяясь дрожью. Мы духа позвали
С почтением. Разве сложно?

Как угрей в темноте летней ловить — Не
прошло и минуты, стекло ожило,
Заскользило меж букв, закружило…
И — «Да».

Что-то здесь было. Дух имя дал.
Имя тоски — безнадёжной, больной.
Каждый ответ — «гниль», «черви», «кости».
После — как пятна копоти на руках,
Как будто в душу пролез воришка,
Разрезал ножом шёлковую подкладку
И в рану сунул липкие пальцы.

Мы решили: какой-то забытый кошмар,
Отброс сновидений, прорвался в стекло
И, опьянев от власти, буянит.

Но лучше бы
Поймать духа-пророка,
Настроив Уиджу на частоты
Вселенной — на правду, на знанье.
Всё дело в выборе.

И снова
Мы склонились над бездной букв,
В чёрный колодец Уиджи взывая.
Чётко условия объявили —
И вот стекло, петляя, поползло.
Вдруг — рывок! — к «Да» его рвёт,
Словно рыбу, поднятую с глубины.

Тот дух сулил лишь правду. В доказательство
Предложил заполнить футбольный купон
И за пять минут сделать нас богами.
Тринадцать ничьих. «Маловато».
«В самый раз», — ответил он. И попал —
Но все его «ничьи» на один матч
Опережали итоги. «Спешил?» — «Да».
Клялся исправиться.

Пять дней — и вновь замерли мы в тиши.
Расчёт, прицел… И снова —
Угадал ровно восемнадцать. Но

Его ничьи, хоть и легли в цель,
Разбежались врозь: две — раньше, три — позже.
Мои сети пусты.

«Его трясёт азартная дрожь.
Он слишком вник в команды, начал
Болеть за победы, забыв про правду.
Здесь урок», — подумал я, глядя,
Как он неделя за неделей катится
В хаос, жонглируя ложью и верой,
Став человечным — значит, слабым.

Он предпочитал говорить о стихах.
Он сочинял. Один продиктовал:

«Без имени пребудет он,
Дочерей несметный рой
Будет лить с горных склонов
Слёзы в степи, где нет воды,
Чтоб напоить мёртвый прах».

«Хорошее?» — «Великое». Любимый поэт —
Шекспир. Любимая пьеса — «Король Лир».
Любимая строфа? — «Никогда,
Никогда, никогда, никогда, никогда…»
Но что дальше — забыл. Мы помнили, он — нет.

Когда мы настаивали, он метался,
Потом выдал: «За что терзают так меня?
Я б руку отрубил, как сук прогнивший,
Будь она мне так же лжива, как память!»

Откуда это? Выдумал? Странная шутка.
Хотя шутить он любил. Но чаще — серьёзен.

Однажды, склонившись, я спросил:
«Мы будем знамениты?» — и ты дёрнула руку,
Словно снизу кого-то схватило тебя.
Слёзы — молнии, лицо — маска ужаса,
Голос — гром, разрывающий небо:
«Отдаться на растерзанье? Ты хочешь этого?!
Зачем тебе слава? Не видишь — она
Всё разрушит!»

Я остолбенел.
Я думал, мы вместе —

Что ты, как и я, жаждешь признанья,
Что честолюбье — наш общий устав,
Завет твоей матери. А иначе
Я бы сейчас рыбачил с утёса
Где-то в Австралии… Но ты рыдала,
Ты больше не могла играть. Никаких
Объяснений. Лишь шёпот, который
Ты расслышала раньше меня,
До того, как стекло дрогнуло:

«Слава придёт. Особенно — к тебе.
Ей не избежать. Но заплатишь ты
За неё своим счастьем,
Мужем… и жизнью».

«Лик из обожжённой глины» / The Earthenware Head

Чья рука вылепила терракотовый лик?
– Какой-то студент-американец, твой друг.
Рот – будто готовый для шёпота крик,
Следы резца – грубые, жёсткие вдоль губ.

Попытка быть точным – но сходство мертво.
Тебе не по нраву. И мне нелегко.
Но странный магнит влёк нас обоих – Зачем
мы взяли его в дорожный мешок?

Ноябрь. Топи. Река, как змея,
В тёмных кольцах несёт жёлтый лист.
Ивы – олени с обрубленным рогом,
Голые ветви – проклятый трактир.

Там, где тропа, отвернувшись от вод,
Теряется в поле на пути к Гранчестеру,
Ива склонилась, как старый оплот,
Над речной парчой в молчаливом флирте.

Выше роста – дупла пещера,
Где сова бы свила свой кров.
Стало святилищем вампира
Этот лик – твой двойник без слов.

Я вставил его – и застыла ива
Стерпом с твоим лицом на восток.
Сквозь слепые глаза – тоска неживая,
Сквозь века – только ветра толчок.

Ты искала в словах спасенья,
Пряча в рифмах дрожащий страх,
Но не скрыть от судьбы знаменья –
Эта кукла с тобой в веках.

Недели спустя – ивы след простыл,
Мы искали вполглаза, наугад...
Уже ты боялась: вдруг кто-то разбил?
Вдруг колдовство придало ей яд?

Что случилось? Быть может – ничто.
Может, и ныне там, в утренней тьме,
Сжав обветренные губы в ничто,
Он ждёт прикосновений ко мне?

Иль мальчишки, найдя, раздробили в пыль?
Иль ива рухнула в водный плен?
Нет – река приняла её, как мольбу,
Река – её храм. Река – её плен.

Твой лик, закалённый в печах огневых,
Целует теперь илистого Бога.
Где Кэм хоронит всех мертвецов своих,
Где нету ни имени, ни порога.

Все страхи смыты. Он – совершенен.
Под тяжким потоком, в глубине,
Лишь тени от лодок, скользящих к сирене,
Кланяются тени в выцветшей тьме.

Зло.
Ты назвала его. Зло.

«Грозовой Перевал» / Wuthering Heights

Уолтер вёл нас. В доме у кузины
Хранился бронтовский фаянс — без цены.
Жалок ему был удел сочинителей:
Лгут, убегая от правды пустынной.
Но твой восторг, твой взлёт океанский
Его зажёг. Он пенился,
Как его ревень-вино, что выстояло долго —
Бродильный чан сплетен и тайных вестей О
тех сестрах, что сгинули в тьме.
После Ректори, после шезлонга,
Где Эмили умерла, и крохотных книг,
Фейных кружев, туфелек-невидимок,

Нас ждал путь от Стэнбери. Взлёт
Над ожиданьем — в Эдемский пролёт,
Где вереск вздымал тёмный цветок
И для тебя раскрылся. Дико,
Гораздо диче, чем знала она.
С босыми ногами, с голой главой
Брела она к друзьям — быть может.
Тёмный форт на гребне грозой
Резал эфир. Для тебя же — восторг,
Роман, оживший наяву. «Перевал»
Стал картой. Грозовой оскал
Таял вдали. Мы пришли — и глаза
Утонули в просторе. Пустошь,
Лучи, как ножи, и звёзд тленный свет
Владели им полно,
Тлением чёрным. Века
Запоров, уютов — и вот, мертвец —
Заброшенный каменный крест. Крыша
Крошилась, но держалась ещё,
Балки скрипели. Как пусто
В каменной этой норе!
Пол — щебень да помет овец. Двери
— на пепел, окна — в прах...
Лишь чёрный камень. Да небо — в слезах.
Да ветер, что воет, как пёс.

Приходы, уходы — но где же тут свет?
Где крохи от скудных трудов —
От стада чахлых быков,
От стаи безумных овец? Безысходность
Держала их здесь. А эта стена —
Не сад ли когда-то шумела? Два клёна —
Друзья для детей, отрада для глаз,
Шатёр от зноя и злых небес.
Им, как двадцатилетним в долине, А
веку — под девяносто, не меньше.

Ты вдыхала это,
Как во́рог, что след сторожит.
Разве ты не дважды честолюбивей её?
Странно
Было глядеть, как ты — живой маяк
Своих планетных тревог —
Средь этих развалин былых
Надежд, усилий, пута́ —
Железных догм, железных уз,

Железных цепей, что ржавь
Съела давно, возвратив их камню.

Ты взгромоздилась
На клён, как на трон, —
Там, где снимок тебя поймал.
Так не делала Эмили. Ты
Вольной была — живой и новой.
Будущее в тебя вложило
Все самоцветы — алмаз,
Что рвёт лучами покровы,
Где Эмили молча
Ждала своей гибели.

И стих твой распустился,
Как локон с плеча,
Что срежут и вклеят в альбом. Что б строгая,
Угрюмая Эмили сказала о твоём
Порыве, надежде? О долге,
Что взяла ты на плечи? Ветер
С пустыми глазами смотрел на тебя,
А тучи скользили мимо,
Вереск шуршал, как больной в бреду,
А камень, дотронувшись до тебя,
Узнал в тебе жар и свет —
Такой же, как прежде. И
тень Из разбитых окон
глядела Прямо в тебя.
Может, Вспыхнула от
зависти вдруг, Но стихла,
поняв наконец.

«Бурундук» / The Chipmunk

Как эльф лесной, резвясь, стремителен и юрк,
Сквозь сосны Кейп-Кода, меж коряг и пней,
Промчался бурундук — степей и рек зверь-курьер,
Карлик-абориген, дух земли коренной.
Точно искра, бежал по сплетенью ветвей,
Чуткий, как радиоволна в тишине ночной.
В свете вспышки — замер, в свете — стал как идол,
Взгляд уткнул в меня, будто в странный фолиант. Я
— узник книги, раб страниц тяжелых,
Шагу цену знаю, но теряю счет...
Туда-сюда, туда-сюда —
Как маятник в часах. Он хвостом щелчок —
И дружбу спешную мне бросил, как вызов:
«Лови!» — но знал, что срок

Нам отмерен — три секунды в зайчике лучей.

Глаза — две капли тьмы, два всплеска чернил,
Мир преобразили, в новый сон ввели.
И в них — узнал себя.

...А ты
Была стеклянной, как манекен в витрине,
«Сделанный в США» — без рода, без корней.
Дни пролетели, но в миг один — нежданно
Ты сморщила носик, надула щеки... И вот —
Ребенок восьми лет исчез. На месте —
Бурундук в платье: рот — бантик, взгляд — огонь!
Я — щелкнул затвором, засмеялся, крикнул:
«Да это ж живой, не игрушечный зверь!»
Но эхо в ветвях прошептало строго:
«Возьми дитя леса... Не дай ему сгинуть!»

«Гороскоп» / Horoscope

Ты звёзды хотела прочесть —
Тех стражей глухих,
Что в небе тюремном чертят свой круг.
Планеты, как древний Вавилон,
Шептали заклятья во тьму,
Как кости в руке колдуна.
И ты не напрасно дрожала —
Как громко кости рокочут,
Как ясно их шёпот звучит
Сквозь плоть, что пыла, как свеча...

Но звёздных расчётов напрасных
Ты могла не вести —
Твой Марс, восходящий в огне Овна
Не сулил ничего, кроме ран,
Лишь шрамы на зеркале дней.
Какой чародей, какой маг
Разглядит, что под кожей таится?

Взгляни — и в любом очертанье,
В платье, что сброшено с плеч,
В крошках на блюдце пустом,
В солнце, в луне, в тисе листвы —
Узришь отца иль мать,
А может — меня в темноте,
Несущих тебе приговор.

«Камбалы» / Flounders

Был ль день тот счастливым? Из Чатама,
Где мыс окунался в прибой,
С картою чужого мечтанья,
Мы ринулись в зыбь голубую.

Прилив нас качал, как игрушку,
А якорь скребло по песку.
Снасти — на удачу, на север —
Три часа били мертвое дно.

Лишь рыбы-бычки да катера,
Что волнами нас накрывали,
А мы — хохотали, не зная,
Что ветер уже заострялся,

Что волны, как ножи, заточены,
Рвут в клочья наш хрупкий покой...
Мы гребли. Гребли. Гребли.
Но берег смеялся волной.

И вдруг — отмель, выброшенный панцирь —
Мечехвост, застывший в янтаре,
Словно знак из забытой эпохи,
Словно нам — утонуть иль гореть...

Но Америка, мать великая,
Послала нам катер-спаситель —
Семья, капитан беззаботный,
Взял на буксир нашу судьбу.

Мы ныряли в пенные жерла,
Нас слепила солёная мгла,
Пять минут ада — и вот мы
В тени берегов, но не дома.

Болота, крабы, каналы,
Где дикость таилась в тени,
Где ил шептал древние были,
Где тьма обещала ловить...

И вдруг — шевеленье у дна,
Где глубина — по колено,
Где море, как масло, лениво,
Нам дарит плоских камбал!

Они, как блины на сковороде,
Ложились на дно лодки враз —
После пустого отлива,
После страха, что вздрогнул в глазах.

И день, что сверкал нам вначале,
Что бил нас, слепил, обжигал,
Распустился, как роза заката,
Меж яхт, что купались в мечтах.

О, как мал был тот подвиг,
Но в сердце — как вечность легло,
Как намёк на все бури и стыни,
На всё, что нас ждало вдали...

То богиня скользнула незримо —
Поэзии нежная сестра,
Шепнула ей: «Ты их балуешь...»
Но нам — ни слова, ни добра.

Мы только ей верили свято,
Мы только ей пели в ответ... А
море смеялось камбалой, Что
к небу летело назад.

«Синий фланелевый костюм» / "The Blue Flannel Suit"

Я отпустил всё — пусть растёт.
Я верил, что в порядке. Твой путь
Был лайнером, где мой компас зачах.
Дорогие вузы, как лаки, блестели на тебе.
Банкиры, советники, важные лица
Таяли в отблесках твоей глади.
А ты дрожала, как мотор в ненастье.

Тот первый день.
Ты сидела с кофе — пара ещё не началась.
Теперь я знаю ,а тогда не ведал!
Какие взгляды, как ножи,
Ждали в углах аудитории —
Им нужно было твой успех взвесить,
Приговор вынести без отсрочки.
Какие судьи в строгих галстуках
Ждали: окупишь ли вложенья,
Их азарт оправдаешь ли?
Как раскалённая топка глаз
Ждала, чтоб ты расплавилась.

А я видел
Деревянные жесты, страданье
Твоего синего костюма —
Смирительную рубашку, карикатуру
На ту «приличность», в которую
Ты так хотела вписаться.
И твой ужас в нём. И смуглое,
С зеленцой, лицо —
Как фитиль, догорающий в спешке,
Шрам — грубым наплывом,
А голова в косичках —
Как у испуганной девочки.

Ты ждала,
Зная — жизнь тебя сжала в тисках,
И я разглядел:
Обнажённый нерв, незаживающий шрам —
Всё, что ты звала «мужеством».
Я понял: то, что сжимало тебя, пока ты пила,
Было страхом, который уже убивал тебя.

Теперь я вижу — я УВИДЕЛ тогда,
Одинокую девочку, которой суждено умереть.

...Тот синий костюм,
Безумный, как роба палача,
Пережил тебя. А я сидел, онемев,
Не в силах понять, что тебя сковало —
Так же, как скован now,
Навек,
Наклонившись над твоим открытым гробом.

"Детский парк" / Child's Park
Что для тебя цвели азалии, скажи?
Те девчонки, срывавшие ветки так смело,
Обнимавшие дерзких цветов охапки —
Букеты, как шёлк подвенечный, тяжелый.
Они ловили миг, им было весело...
А твой взгляд, словно взор палача из-под шлема,
Встретил их — будто вырвались они из пламени
Угли, что жгли тебя. Я увёл тебя немо.

Лягушки-быки увлекли тебя в лилии
Чащу. Твой гнев надо было залить —
Глубоко, глубоко, чтоб тяжёлой водою

Остудить плутониевый взрыв.
Ты дышала водой. Освобождённая, снова
Ты всплыла — и в глазах, как в хрустальной призме,
Заиграли лучи, так хрупко-живые,
Стрекозой на лилиях жёстких повисшей.

Дятел, корчась, нырял в катальпы, Цеплялся
за низ стволов,
Рухнул вниз, как птеродактиль,
Вскрикнув мертвенно-зло.
Дьявольская гримаса,
Расправленных крыльев взмах —
Сад раскрылся, как бездна,
И ты... ты была

В шаге от Рая.
Твой психолог сказал:
Ты в любой миг можешь нырнуть
В адское жерло —
В сердцевину мохнатого цвета. А
фонтана струи,
Семь покрывал сбросив,
Рвались ввысь, и на солнце
Твой путь проступил —

Семь цветов алхимии.
Я смотрел, как одна
Ты взошла в этот свет,
В зев азалий горящих.

Ты ждала — вот разрыв
Покрова, дефлорация,
Новое рождение в солнце — всё разом,
Всё в одном. Ты без страха
Шла навстречу Отцу,
Чтоб услышать глагол
Средь ядерных гроз.

Что в сердце твоём — то и будет.
Я шагнул назад.
Тот слепящий свет,
Сбросивший прошлое, как рубашку,
Сделал твой Эдем радиоактивным.

«Уиллоу-стрит, 9» / 9 Willow Street
Уиллоу-стрит — поэтичный адрес.

Девятка — лучше нет. Судьба сама
Велела брать его. Мы взяли. Башня
Для муз. Ты — впервые вне урока,
Вне клетки — но свобода в клетку новую
Рванулась: вид на Чарльз, на Кембридж дальний.
А я заклеил окна коричневой
Бумагой, в уши — пробки, чтоб не слышать
Гул крови, и пошёл ко дну. А ты —
В соседней комнате, на крае света,
Под лампой била в клавиши «Гермеса»,
Тревожная птаха — сквозь скорлупу в мир,
А я в мешке своём, как брёвна, катился
Ко дну речному. Мы жались. Я —
В чёрном мешке, чиркая серным спичкам,
Чтоб отыскать в «нигредо» Юнга очи.
Ты — в параличе страха, будто птаха
В стекло ударилась. Я крылья чёрные
Раскрыл — тебя обнял тьмою, что качала
Меня, как младенца, и втянула тебя.
Твой пульс — как молоток, ты задыхалась,
Хватала мир, соломинки, кофе утром —
Всё, чтоб взлететь. А мои пузыри
Всплывали вверх и лопались впустую
Под грохот турбин, что в тебе гудели —
Дом, колледж, ужас. Пол дрожал,
А ты — как двадцать четыре перекладины
Пожарной лестницы в кромешном вихре,
Что тянется в ничто…
Какая лёгкая адская мгла!

…А Бостон гремел внизу,
Меж Гарвардом и Сколли-сквер кружась.
Один — любой из нас мог бы быть целым.
Но мы — сиамские близнецы, друг в друге
Взрастившие заразу духа. Каждый
Был колом для другого. Мы брели
Сквозь улицы, шепча: «Мы — есть», —
Слепые, искалеченные сном.

…Твой стук машинки, будильника укус,
Новая фраза — пытка, агонии
Компьютер, что точил тебя ежедневно —
Каждая буква — игла, как у Кафки.
А я — как полтергейст, как тень больная — Висел
на тебе, пил твои кошмары.
В твоём Стеклянном колпаке я был

Кукольным демоном в зрачке.

Что было — то осталось: вспышки горячки,
Химический кошмар, где всё — не то.
Единственный побег — в объятья,
Что тянутся вверх или вниз,
Катились с нами ночь за ночью
На дне речном, в мутной воде.
Какая смерть!
Чего наш слепой поиск достиг?

...Счастье мелькнуло —
Как миг,
Глянуло в окно —
Дикий мигрант: танагра,
Колибри, иволга — чисто американский,
Клочок свободы ветром занесённый —
Но сбился с пути и растаял,
Не дав нам разглядеть его.

...А потом — под каштанами:
Что-то чёрное, сморщенное,
На тропке в парке, у лодок-лебедей,
Боролось с листом, сухим и ржавым.
Вдруг ясно: это летучая мышь.
Мышь, упавшая с дерева
Средь бела дня. Больная? Я нагнулся,
Чтоб на кору её вернуть.
Она вздыбилась, зарычала,
Гиена с клювом воробья —
Вся морда в оскале, клыки — как иглы.
Я рванул взять её за плечи,
Но она, как боец, крутанулась.
Толпа смеялась, глядя, как я
С мышью дерусь в парке. В итоге
Подставил палец.
Пусть кусает. И — поднял,
Поднёс к стволу. Она отпустила,
Полезла вверх задом, мордой вниз,
Рыча, торжествуя, исчезла
Там, откуда упала.

Дома я смотрел на кровь и вспомнил:
Американские мыши с бешенством. Как Рок
Смог не вшить в символ трагедию
И ироничный финал? Это был

Миф, в котором мы спали: смерть.
Мы жили в свете мышином: смерть.

«Литературная жизнь» / The Literary Life

Мы взобрались по лестнице узкой к Мэриан Мур, В
её «беседку-гнездо» — брик-а-брак в Бруклине.
Американы изысканный осколок.
Её речь — игла,
Неустанно шьющая,
Связующая кольчугу с цветами,
Рыб и птиц коралловых стай
В бронзово-фосфорной проволоке.
Лицо — крошечная катушка,
На веретене дрожащая,
Голос — мерцающий шёпот старинного колеса.
Потом монета — неизбежная плата
За метро,
Обратно в будничный хаос.
Как было ей не дорожить?
Ты послала ей копии нескольких стихов.
Всё в них —
Туманный мрак, сдавленность,
Воздух под колпаком — заставил её ловить
Кислород, ища просвет. Она вернула их.
(Кто хранит её письмо — знает точные слова.)
«Раз уж это ценные копии,
(Хоть и с пятнами), я не стану их "впитывать".»
Я понял этот «впитывать»
Безошибочно, как осколок,
Вонзившийся в палец.
Ты рыдала,
Бросилась вниз на этаж или два,
Прочь от Эмпирея.
Я поднял тебя обратно.
А она — Мэриан, чопорная, резкая,
Чистенькая и твёрдая, как муравей,
Скользнула во второй или третий круг
Моего Ада.

Десять лет спустя, в Англии, на приёме, Она
царила, сидя, согнувшись,
Под полями шляпы — будто лепесток,
Её лицо — изящно, как конфетти.
Она хотела, чтоб я знал, настаивала
Это было всё, что ей нужно сказать,
Миссурийской иглой вонзая

Каждое слово в ухо:
Что твой почти посмертный очерк
«ОКЕАН 1212»
Был «так чудесен, так светел, так чудесен» — Она
склонилась так низко, что я встал на колени. Я
преклонился, приблизив лицо к её лицу, Казавшемуся
меньше прежнего,
И разглядывал сквозь решётку
Её губы — как кошелёк из кожи сонь,
Щёку — будто она припудрила шёлк
Крыла летучей мыши.
А я слушал, тяжёлый, как кладбище,
Пока она искала могилу,
Где могла б оставить свой маленький венок.

«Птица» / The Bird

Под стеклянным куполом, за веками глаз,
Твоя Птица Ужаса не чучелом была —
Она искала то, чего не знала ты. Я мог
Почуять стекло — его нет, но оно есть —
Как геккон в зоопарке, прилипший к пустоте,
С пульсом жизни в горле, будто в эфире стоит.

Принцесса из башни, где окна — в облака,
Распустила косы до самой земли. Помнишь,
Как кружили в Бостоне, отрабатывая шаг
Заключённых — ноги маятником с колен?
Тирольский механизм под стеклом,
Звенящий в такт. Ты мне рассказала
Всё — кроме сказки. Шаг в шаг
Я шёл сквозь тот сон,
Из которого ты пыталась вырваться.

Ты расширила зрачки — громовой рассвет
На причале, и вот он, вмёрзший в лёд корабль,
Ажурный светильник из кружевных кристаллов,
Свадебный ковчег, поднятый с морского дна
В мгновенной стуже. Ты обернулась —
Ресницы слиплись — и уставилась в глазницы
Чёрных окон, где пламя всю ночь ползло ввысь
Под напором шлангов, за Сенатом. Ты выла
Беззвучно, с потухшим экраном,
Чтоб трагедия длилась — к чертям занавес!
Ты жаждала вновь увидеть хоть искру беды
Сквозь застывшую пену, что, как Ниагара,
Повисла над пеплом.

Но в фокусе вспыхнула кровь — живая, немая,
Проступала сквозь кожу, где орёл был наколот.
Двойной твой тотем. Орёл Германии
Сочился сквозь орла Америки
В облаке «Деттола». Он бил
Когтями в стекло. Он рвался
На свет, долбя клювом. Слёзы — не выход.
Хоть ты могла раскрошить топором-табуретом
Массивный стол, как реликвию, —
Слёзы были лишь дождь по стеклу.

Мы стояли, женаты, в тесной комнате,
Пили херес в колледже Кембриджа. Мой взгляд
Зацепился за толстый стакан,
Где звенели монеты (плата за выпивку),
Одинокий на лощёном столе.
Я смотрел — и он вдруг исчез
Со звоном, как граната. Монеты
Рухнули в шелест. Но стол
Весь побелел от осколков-кристаллов. Как
будто глыба снега
Свалилась с небес. И каждая крошка,
В которую я всматривался,
Таила в себе целый мир ледяных
Осколков — как снег, что похоронил
Почти весь Лондон в тот день,
Когда твоя птица сорвалась, и купол
Исчез — с перезвоном, который
Я принял за звонок.

Я знал — нет стекла, нет птицы. Как
веко приподняв, я искал стекло — Но
знал: его нет. Ибо свет
Безграничный и пустой
Кружился во всём.
Как будто геккон
Падал в пустоту света.

«Вяжущий вкус» / Astringency

Я вижу Чарльз-ривер — скован льдом.
«Вяжущий вкус» — наш тайный код
На годы стал. Я шёл, ленив,
Когда настиг меня провал:
Миллион червей, мёртвых, бледных, Устилал
газон у мостовой.

Век прогресса их настиг —
И перегнал. Обрывки нитей,
Слишком коротки, чтоб спасти.
Воздух пеплом прожжён,
Где запах железа — из Кембриджа.
«Литература и пестициды —
Близнецы», — сказал мне друг.

Ты была со мной тогда,
Когда у реки, у самой кромки,
Я увидел чудо? Рыбак —
Ловит… Бога знает что —
Но вытянул… золотую рыбку!
Из этой бурой глубины,
Из-под сотен миль обмана,
Под ложью тысячи масок
Чарльз-ривера — где, я клялся,
Только яд течёт. Но вот —

Рыбка! Толстая, резвая,
Девять дюймов — здоровый взгляд!
Чей-то питомец, смытый в унитаз?
Но пойман вновь! Безумный шанс!
Он её отпустил. Уплыла,
Растворилась в мути. Там же,
Где с тобой мы волны зрели —
Как лизали камень у кромки.

Мы с тобой, на груди Америки,
Стояли, без мыслей, без слов,
Следя, как кольцо за кольцом
Волна, усталая, бросала
На камень — «как лассо», — сказала ты.
Единственный образ, что проскользнул
В твоей речи при мне —

Мимо цензора? Мимо ночных рук?
Мимо петли в горле — но чьей?
Кто поймал весь этот рой,
Каждого, до одного,
Чтоб в твоих стихах повесить
Их пытанные языки?

Зачем? Удав, которого
Не вырвать, не разорвать.

«Пустоши» / The Badlands

Через всю Америку
Мы искали тебя. Молния
Сорвала одежды,
Подписалась на скуле. Она —
Из солнечного взрыва
Над Хиросимой, Нагасаки,
Из подземных трещин,
Сквозь смертников, Розенбергов…
Они приняли удар.
Ты не искала причин.
Ты знала — оно пришло, схватило
За корни волос,
Пригвоздило к кровати,
Развернуло на сетчатке
Карту нервов в синих огнях —
И ушло, оставив метку. Но ты
Уже ускользнула —
Рванулась из опалённой кожи,
В пролом над скулой,
Ушла под землю, в лунные степи
Где-то в Америке.

У камня у озера,
Вспененного криком гагары,
Я перевернул валун —
Тот, что ждал века:
Кольца чёрные, белые,
Свёрнут в кольцо. Я сказал:
«Как спираль на портале Ньюгрейнджа».
Найти проводника — одно,
Следовать — другое.

В Северной Дакоте
Мы встретили дым подземелья —
Прогорклый смрад битума.
Адский. Иль от молний. Или
Дантовский, чтоб вести нас. Вспыхнул
От удара луны — мне снилось,
Как она, раскалённый шар,
Врезается в Атлантику…
Я видел с Манхэттена:
Земля дёрнулась,
Луна — внутри,
Заталкивает фосфорный пламень

Под кору прерий.
А башни Нью-Йорка
Качались, как пепельные шторы.

В пустоши мы углубились.
Пейзаж, Пригвождённый к солнцу, умирал.
Нацпарк Рузвельта.
Давно умерший. Сквозь кору —
Кости, щетина, зубы.
Или руины завода
По производству
Вечной жертвы, каньонов,
Давно выпотрошенных.
Ацтеки и инки ушли на юг,
Оставив солнце голодным,
Яростным — теперь
Оно безумно и пусто.
Садилось, пялясь на наш авто.
Миссури, жёлтая, вдали
Ползла, стыла, ползла.
Тишина,
Как остывающая печь,
Была «тем светом». Тени
Росли, как двери.
Мы разбили лагерь.
Худшее место на свете.
Поздно идти дальше.
Одно дерево у палатки —
Я смотрел на него,
Но не было в нём утешенья.
Ты нервничала,
Тебя мутило от горя этого места.
Мы устали.
Лёгкая добыча. Пошли гулять.
Всё смотрело. Мы стояли,
Пока солнце
Не стало половинкой, четвертинкой,
Пока не исчезло.

И тогда что-то
Поднялось из земли.
Пустое, древнее, чудовищное —
Америка. Планетарное.
Земля с одной идеей — змея.
Но вдруг — в колючем кусте —
Мельтешение, визг, треск,

Как шарик в пинболе,
Стремительный ужас,
Бросок, удар, отскок…
Я думал — птица в панике
Бьётся, опутана змеёй,
Или два демона
Дерутся в колючках.
Это была мышь.
В этом адском пейзаже
Она нашла две капли росы
И защищала их —
С такой яростью,
Будто это был яд,
А не пища. Где её пища?
Что она делала
В этой печи оксидов?
Зачем в своём спортзале
Жгла калории,
Рвала нервы, крушила кусты —
От избытка ли ярости
Или невменяемой радости?
Исчезла. Только треск
Дрожал в колючках.
Каньоны синели.
Тьма выползла, как эктоплазма,
Громадная змея.
«Это — зло», —
Ты сказала. «Настоящее зло».
Весь пейзаж носил его,
Как маску. «Что это?»
Я спрашивал. «Что?» —
Будто вопрос
Мог материализовать это —
Может, старый индеец,
Может, тень у машины…

«Может, это — земля»,
Ты сказала. «Или мы.
Пустота высасывает нас.
Здесь, где есть только смерть,
Наша жизнь
Ужасает землю.
И нас самих».

«Рыбацкий мост» / Fishing Bridge

Почти счастливы. Ярко залит светом

Тот край, где озеро в реку струится.
Мы, пионеры в простоте наивной, Не
понимали, что перед глазами,
Когда взирали, как под лодкой красноголовки Шли
строй за строем, сквозь порог затонувший
Йеллоустона.

Мелкие уловки,
Чтоб не словить свинцовый снаряд на вираже
С хлестких удилищ праздных рыбаков —
(Весь берег, мост — в пестрой давке азарта) —
Всю нашу мудрость заняли.

А все богатство,
Что за порогом манило нас играя
Блеском далей, собирая форелей
В щедрости своей — мы не заметили.

Без тонкостей,
С червями, грузилом — без проблем
Мы взяли дюжину — предел —
Усталых странников, рвущихся к нересту.
Но помню только:
— Солнца слепящий шквар —
— Твой смех, когда ты босиком
Брела вдоль кромки озера,
К лохматым дебрям —
В бикини. Там ты шаг
Готова была сделать — прямо в Америку.
Но обернулась.

И мы ушли.
Тот озерный край —
Лишь один из многих порогов.
Каждый — сияющий дар.
Мы щурились. Или впустую
Тащились, как лунатики, за голосом с плёнки,
Звавшим нас в дверь —
Трудную, темную.

Голос вещал:
— «Ищите души.
Истинные лики.
Сюда. Ройтесь, ройтесь».
Голос не ведал про озерный свет.
— «Сердце лабиринта — вот цель».

Зачем? Что ждёт
В его глубине?
Дверь в идеал?
Голос умело гнал нас, гипнотизируя,
Клоня головы
В тупики, обрывы,
В бредовые поиски, в тяжкие думы,
В полуборьбу, полустранствие —
Не ради будущего… Никакого будущего…

Пока всё не стихло.
Это и был центр?
Где всё оборвалось?
Что там лежало?

Голос схватил меня за шиворот,
Склонил мой взор
К находке нашей.

Твоё мёртвое лицо.
Твои губы — сухие, бледные.
И глаза
(Все так же ярко-карие, когда я приподнял веки,
Как в тот миг, когда ты смотрела на озерный блеск) —
Неподвижные. Мёртвые.

«Пятьдесят девятый медведь» / "The 59th Bear"

Мы считали медведей — будто лишь их
Нам и не хватало. Йеллоустон
Окутал нас, как плащом, своими вигвамами Из
гор и хвойных древ.

Америка — забытый краснокожий Микки-Маус —
Манила пальцем от кемпа к кемпу.
Мы были частью толпы. Но для нас с тобой
Всё было ново, как в сказке.

Мы видели: в раю дикие медведи
Едят с рук у детей. «Неужели
Они настоящие?» Папы качали
Малышей на спинах у чёрных мишек,

А те водили хоровод под вспышки
И хохот. Медведи знали правила
Американского счастья — как те картонные

Дяди-Брюсы в комбинезонах,

Что учат тушить костры. Они ждали
У стоянок, как делегации,
Подняв уши-пуговки к стёклам машин.
Двадцать... Тридцать... Сорок... Пятьдесят...

Однажды, когда я открыл дверь у кафе,
Медведь, проходивший мимо,
Прикрыл её плечом. Повсюду люди
Развлекали медведей, а медведи — людей.

Мы бродили, привыкая к чуду.
Даже орлы были «включены» в пейзаж —
Чёрные точки внизу, что вдруг
Превращались в крылья под крики восторга

В чьи-то бинокли. Я смотрел сквозь когти
Орла в пропасть — до сих пор страшно.
Но мир отказывался быть понятым.
Предупреждения рейнджеров казались игрой.

Под милыми прозвищами — магма,
Клокотанье красок, древний рёв.
Доисторический котёл кипел
И дымился вокруг.

Каждый вечер медведи грабили кемпы,
Звездили у мусорных ям. Восторг —
Каждые пару дней новые туристы
Лезут с селфи, пока не поймут

Предостережений. Но в тот вечер
Ты уже дрожала. День был тревожным.
Мы заехали слишком далеко. Бензин
На исходе, ночь близко.

Твой настрой упал вместе со стрелкой
Бака и застыл на дне. Ты видела
Нас в заголовках: «Съедены в ночном лесу!»
Один поворот стал кошмаром —

Гигантский лось вырвался из тьмы,
Взметнул рога над капотом
И исчез, как знак из мира
Проклятий. Мы добрались до палатки

В сумерках костров. Три жареных форели
Остались с утра. Но есть под звёздами
Было поздно — «Медведи!» Где-то
Гремели кастрюли, крики: «Медведи!» —

Ты рванула в палатку, моля спастись.
Я видел бурого и чёрного —
Они скакали, как надувные,
Между столов, гибкие, быстрые,

Страшные. Весь кемп дрожал
От стука и воплей: «Прочь!»
Я запер всё в машине. Проверил дважды.
Но кое-что упустил.

Спали ли мы? Кемп уснул. Медведей
Спугнули к другим. Как сладко
Дышать в зелёных стенах! Мы — куколки
В спальниках, верим, что тишина

Будет длиться вечно. Громада тьмы
Америки. Под подушкой —
Топорик на крайний случай,
Остро заточенный.

Который час? Грохот — слишком близко —
Вздрогнул, прислушался, будто видел,
Что это. Ещё удары,
Всё громче. Ты проснулась.

Я выглянул в сетчатое окно:
Луна, чёрные тени. Машина
В пяти шагах. Потом — скрежет,
И она затряслась.

В дальнем стекле — чёрная масса.
«Чёртов медведь! Залез в салон!»
Думал, хватит пары криков —
И он убежит. Взял топорик

(Как же я был наивен).
Вспоминал тех добрых мишек.
Но твой страх оказался мудрее —
Я не был уверен.

Целый час он выгружал наш багаж,
Рвал, швырял, будто ломал дом.
Мы лежали, разгадывая звуки:
Скрип, хруст, паузы.

Под утро я разглядел:
Он катал наш холодильник лапами.
«Это бурый. Говорили, злой».
Мы молчали, отдав ему всё.

Новый звук — мотор рейнджера.
Медведь услышал. И мы —
Словно в ужасном смехе —
Услышали, как его когти

Зашуршали у палатки. Он был тут,
В сантиметрах от нас! Его дыхание,
Тяжёлое от ночного пира,
Рвало ткань — в дюйме

От твоего лица. Ты смотрела
На меня широкими глазами.
Машина рейнджера умчалась.
Медведь исчез.

Рассвет. Лунь стряхнул кошмары
С озёрной глади. Нас покинул
Демон, оставив сломанный холодильник,
Следы рыбы, размазанную муку,

Клочки упаковок. А в машине —
Вырванное стекло: звёздный скол
От одного когтя. Он вонзил его
В щель, учуяв запах,

И вырвал всю панель. Шерсть
Осталась на сиденьях — я вклеил
Её в Шекспира. Гордился странно:
Меня выбрал зверь.

Но ты вернулась из душевой
С новой паникой. В соседнем кемпе
Этой же ночью мужчина вышел
Прогнать медведя фонарём —

И узнал (на мгновение,

Пока был жив), что когти зверя —
Как сталь, а лапа бьёт
Со скоростью пули.

Ты встретила в душевой женщину —
Она мчалась оттуда в ужасе.
Ты поняла: это был наш медведь.
Убив человека, он пришёл

Грабить нас.
Пятьдесят девятый. Я видел,
Как опасность качается рядом
С любопытством — какая искра

В зверином мозгу взрывает силу,
Рвёт жизнь, как бумагу. Но не видел,
Какая искра в тебе потом
Превратила этот провал

В рассказ. Какое спасение
Выжало кровь из истории
Через машинку.
Тогда я не знал,

Как смерть, мечущаяся
В твоей голове, ищет пристанище
Снова и снова. Ей нужно движение,
Но ей нужен и отдых.

«Гранд-Каньон» / Grand Canyon

Не стакан апельсинового сока —
Но ты вдруг стала осторожней строго,
Чтоб не пролить ни капли. На краю,
Где мулы шли по склону вниз, в упряжке,
Тебя почти что тошнило.

Вдали — стена скалы, вздымалась ввысь.
А внизу — «двухдневная щетина»
Так говорят — сосна-великан
Росла на восемьдесят футов. Жара
Там, в глубине, была адской.

Слишком огромный, чтоб увидеть целиком,
Как карьер, где изваянье чего-то
Вырубили — да так и бросили:
Не сдвинуть.

«Америки красная мама!»
Теперь она лежит распахнутой,
И солнце ласкает её, меняя краски.

Мы скользили взглядом — будто перо,
Затерянное в отблесках её страсти.

Ты, на шестой неделе, мулов боялась,
Но вот он — оракул. Дельфы Америки.
Ты ждала знака. Нам достался
Охотник на пум. Сухопарый,
Ворчливый старик. Его байки — как спектакль
Про древний каньон. Он слайды показывал
Без шуток. Свой счёт — пятьсот львов —
Преподнёс как факт.

Ты его невзлюбила сразу,
Хотя его слова бились в висках,
Как громовые раскаты,
Как молнии над её плодом.

Мы везли наш бак с водой сквозь пепел Мохаве,
Притороченный к бамперу, как знатоки.
Берегли. Не распечатали.
Мы были под кайфом
От дорог, что вились в наших головах,
От гор, лесов, городов, пирогов с ежевикой,
Забитых в нас, как в рюкзаки.
Мы онемели от ударов
Небесных просторов —

От громовых существ, что накатывали,
Проходили сквозь нас,
Рождаясь из зайцев на шоссе
И созвездий пивных банок,
В которые мы въезжали ночью.

Мы вспотели от труда, от паломничества.
Теперь жаждали благословения.
Слова — из тех времён, когда каньонский лев
Ещё не стал орлом на долларе.

Мы надеялись, что навахо-танцоры
На помосте нам его подарят.

БАМ! Оно пришло —
Первый удар барабана
До того, как первый танцор возник.
БАМ! Ущелье говорило
Через эту мембрану,
Первый зов
Из его головокруженья и тошноты.

И каждый волосок на мне
Вздыбился, будто пыль на барабане.

БАМ!
Поглотило всю память —
Танцоров, толпу, камеры, всё на краю —
Схлопнулось в одинокий удар.

Ты, я и она — повисли
В её дрожащем эхо-зале —
Стерты,
Как стирает авария
Всё, что было до и после —
Вся сцена исчезла
БАМ!

Я записал, чтоб помнить:
Мы в лунатизме к машине брели, А
бак наш украли.

Ничего не осталось. Я не вернулся, ты мертва.
Но порой это является,
Будто впервые, как рука, хватающая,
Трясущая меня в полусне,
Сквозь годы, даже через тридцать лет,
Близкое, наше, как голос твоей дочери —
БАМ!

«Карлсбадские пещеры» / Karlsbad Caverns
Мы видели летучих мышей в Карлсбаде —
Как сажа в трубах, густые, чёрные,
В пещерах, что просторней, чем соборы.
Мы были лишь точками на грани
Их полного, особенного мира.
И все они, наверное, были счастливы —
Так счастливы, что не знали счастья,
Поглощены им, опьянены им,
Вися вниз головой в каменном небе.

Но вот взглянули мы на часы — и точно,
Первейшие из них закрутились, вспыхнули
В гигантском зеве тёмной пещеры,
Что стала нам амфитеатром,
Где шла их пьеса. Горстка — стала тучей,
Пока кипящая лавина
Не сорвалась с магнитного притяженья
Недр. И хлынули они —
Рванулись, дымом, вихрем, бурей,
Целых полчаса лился вверх поток
Миллионов крыл. Как дымный дракон
Из щели в теле земли,
Как змей небесный, вьющийся на юг,
К Рио-Гранде, где каждую ночь
Они ловили тонны мошкары —
«Пять тонн!» — кто-то сказал.

Так было. Так должно быть.
Сколько миллионов лет подряд?
Часы, отточенные, как их радар.
Остаться нам иль нет — мы не решили.
Мы были там, где не бывали в жизни.
Гости — даже для самих себя.
Летучие мыши — часть системы солнца,
Связаны с механизмом цветов
Через механизм насекомых. Их смысл
Смазывал безупречный ход земли.
Закон вселенной — на крыльях гоблина.
Укор нашему жалкому участию.

Такие мысли вихрились, но крик
Раздался вдруг: небесный змей
Скрутился в узел. «Они летят назад!» Мы
вгляделись — и сквозь летучих мышей
Увидели грибы грозовых туч,
Громоздящихся, с молниями в боках,
Над Рио-Гранде. У мышей — проблема.
Крылья, как зонтики, сложив, они
Свергались с высоты
Обратно в пещеру — вся туча,
Великое джинна лоскутье,
Лило́сь назад в сосуд. А дальше, на юге,
Ползла и вспыхивала, как война, гроза.

У тех мышей глаза были открыты.

В отличие от нас,
Они знали, как и когда отречься
От любви, что движет солнце и светила.

«Чёрное пальто» / Black Coat

Я помню, как вышел на кромку —
Прилив далеко, ледяной ветер с севера
Резал до дрожи,
До самой крови. Та ностальгия по краю,
По острым ощущеньям… Всё, что осталось
От чёрного пальто. Шаг по мокрой косе.
Я, вероятно, смотрел на море,
Пытаясь почувствовать: вот он — я,
один, без прикрас,
Как чистый лист — я и море.
И будто бы следы,
Возвращающиеся из этой мерцающей дали, Могли
бы стать новым началом.

Отпечатки подошв —
Мой единственный знак.
Мой краткий, но полный диалог
С волной.
Я роняю слова — и тонкий язык
Прибоя в ответ шевелится. Беззвучно.
Как терапия,
Как рецепт, слишком сложный для нынешней боли,
Но спрятанный в чёрный ящик на потом.

Как будто кормишь оленя
Хрустящей картошкой —
Точно в том снимке, где ты смеёшься,
Обернувшись ко мне и объективу.

Я и не знал, что уже попал
В перекрестье прицела
Папарацци-снайпера,
Что гнездился в твоей коричневой радужке.
Может, и ты не догадывалась,
Стоя так далеко — в полумиле,
Глядя на меня. Наблюдая,
Как я пригвождаю край моря.
Не ведала,
Как это двойное зренье —
Твой глаз, словно двойная экспозиция,
Проекция сердца,

Его диплопический сбой —
Тело призрака и я, его блёклая тень —
Вдруг сошлось в одну точку,
Чёткую, как мишень,
Подставленную словно приманка На
фоне замёрзшей воды,
Из которой твой мёртвый отец только что вышел.

Я не почувствовал,
Как, когда твой зрачок сузился,
Он вошёл в меня.

"Портреты" / Portraits

Куда делся портрет, написанный Говардом?
Я так жаждал владеть холстом.
Духи вели его: «Порой,
Когда пишу, я слышу зов — далёкий,
Женский, едва уловимый,
Шепчущий: "Говард…
Говард…"» Он забылся,
Вплавляя в твой образ
Свои краски. Он пылал
У горнила, на треножнике.
Сколько сеансов?
Осень в Яддо. Печи. Дожди,
Дожди, дожди в хвойной мгле. Война
Вороньих племён и эхо. Ты таяла,
Струившись, светясь, глядя на нас
Из окна говардовых грёз о тебе.
Себя из себя извлёкшая,
Вспыхнув маслом, с чёткими губами.
Вдруг — «Что там? Кто там?»
Из сумрака, за спиной,
Кто-то возник, сгорбленный, жадно
Ловящий тень — капюшон
Из лоскутьев тьмы. Кто?
Говард удивился. Улыбнулся:
«Вижу — пишу. Мне нравится,
Когда такое случается. Он просто пришёл».
Откуда? Тайный мазок-пришелец,
Крадущийся в лаковой влаге
Твоего новорожденного сиянья.
Я смотрел с ледяным предчувствием.
Ты была одна там, беременна, беззащитна В
незримом измерении,
Где это существо завладело тобой.

Как будто мазки Говарда приковали тебя
В пустоте, как приманку, подношенье,
Чтоб явилось — не людоед, не чудовище,
Не демон — так кто же?
Мы следили,
Как змейка плыла, скользя
По пыли оранжереи — бронзовый луч,
Живой, трепетный,
Как рожки улитки, влекомый
Магнитом к… «Какая красота!»
Я воскликнул. «Говард, взгляни — прекрасно!
Так живо, что гипнотизирует!» Говард рассмеялся.
Змей есть змей. «Тебя влечёт
Его зло. Оно пугает — значит, манит».
Ты молчала. Но чуть раньше —
В трансе, кусая губы, считая
Пальцы, ты сидела,
Склонясь, как над колыбелью,
Вплетая в святыню, в строки,
Мёртвого двойника этого змея.

«Причал Стаббинг» / Stubbing Wharfe

Меж каналом и рекою
Мы сидели в липком мраке бара.
Дождь зимней ночи. Горбатый мост с брусчаткою чёрной,
Под фонарями, в поту, в жёлтой мороси угара.

И склоны — ввысь, как стены, чащи,
Спутанные мокрой зимней прядью,
И болота, нависая, почти смыкаются наши,
Вся долина — сырой западней каменной адкой.

Где нам жить? Вот вопрос — в этом жёлтом кабаке,
Холодном, пустом. Ты, что ринулась,
Как брошенный жребий, сбросив блёстки
Америки, пионер не в ту сторону,

Рыдала — тоской, усталостью,
Беременная, разочарованная... Где нам осесть?
Италия? Испания? Весь мир — пред нами.
А вокруг — долины мрачный крест,

Осевшая яма истории,
Ущелье фабрик, рухнувших в прах,
Грязное гнездо Промышленной Революции,
Улетевшей навсегда. Окна — чёрный стеклянный страх.

Если это «очарование английского паба» — то кошмарное,
Как пузырь в затонувшем «Титанике».
Наш сверкающий трансатлантический экспресс
Врезался в туннель — мёртвый и дикий.

Где нам жить? «Идеальный дом»
Из моего «Гиннесса» лез, дрожа.
Здесь, где мы сидели, за сорок лет до моего дня
Мой пьяный дед, вытащенный из канала,

Сидел в простыне, пел. Дом — наш,
Решающий все твои тревоги, стал бы ответом
На все мои беды. Лишь бы крыша —
Где угодно. И все наши бесы

Оборачивались бы эльфами,
Вампиры — в гидов, демоны — в ангелов
Сада... Да, сада! Сад
Пухнет под нашими словами — как то,

Что пухло в тебе. Всё было
Здесь, в «Гиннессе». Но где именно?
Вот вопрос — в этом тёмном
Послевкусии, горькой солодке

Тайного ингредиента. В тот чёрный миг
Пророчество, как сова местная,
С круч противоположной долины
Круг описало — наш жребий.

«Эти боковые ущелья, — прошептал я, —
Полны дивных домов,
Елизаветинских, крошечных королевств,
Практически даром. Вот, напротив —

В той долине...» Моя уверенность
Была прозреньем: дом ждал нас там,
На террасе, в кольце стен — как гнездо
Над обрывом деревьев и вод.

Ты не слышала. Взгляд твой
Был в другом — в солёных взлётах Атлантики,
В грохочущих пляжах, в вершинах-мороженых,
В шёпоте лавин, долинах с горечавкой —

Лоуренсовский шар земной
Озарял хрустальный шар твоего будущего... А
безмолвное крыло твоей могилы
Тенью скользнуло. В той долине

Дом ждал нас обоих —
Но два разных дома. Где я видел ясно
Дом-виденье, ты видела только тьму,
Чёрное Ничто, лик пустоты,

Как в этом дождевом окне...
Вдруг пять игроков в боулз
Ворвались, как клоуны, с хохотом.
Грохнули шары, заказали эль. Их звезда

Была с язвой — агонией.
Или язва была звездой. Она
Их корчила — и они катались
От хохота, будто на дне

Ада, на решётке
Несчастного смеха, слёз потоками,
Струившимися, как пот, пока они
Глотали, давились, но допивали.

Я улыбнулся. Ты улыбнулась. Будущее
Приоткрылось — чуть-чуть.

«Ремиссия» / Remission
Хрупкий черенок, втоптанный в грунт,
Ты пустила корни, расцвела лишь тогда,
Когда стала плодом — когда живот
Океаном покорности отдала,
Рожая. Это была та ты,
Что любила себя, с кем хотела жить.
Сердцевина ракушек — каждая ярко цветная —
Куколки с польского коридора,
Самая сокровенная, твердая, смеющаяся, радость-творящая, Венера
Виллендорфская или Жена из Бата.
Это была та ты, что земле дикой открылась.
Ты вступила в сестринство
Лепестков и созданий,
Чей масонский знак — красота и нектар
В краю любви, в Раю,
Из которого ты самоубийством пыталась вырваться. И
это была та ты, что избежала смерти

В маленьком сплетённом ковчеге На
самой земной из рек
Этого Рая. Твоя индийская акушерка
(Из всех твоих крёстных — самая своевременная, Для
тебя она была богиней с Ганга,
Чёрной от ила мудрости) гладила волосы, Заставляла
рыдать от облегченья, уложила в лодку, Отделила
тебя от тебя, усыпила муки
Твоего кровоточащего «я»
Ликом закиси азота — пустым,
Дыханием йоги,
Обезьянье-тонкими тёмными пальцами приняла В
колыбель, что плыла, — образ, что чихнул,
Разлепил рот и заплакал.
Я был там, я видел. Как помогал тебе
Скрыться инкогнито
От смерти, что уже примерила твои черты —
Маску для маскировки.

«Изида» / Isis

Тот день, как мы отправились в дорогу
Через Америку — она с нами была.
Легчайший груз. Ты же спорила с Роком,
И наконец пришла к уговору:
Он взял твоего отца — тебе дал ребенка.
Жуткий торг. Но за три года мук,
За дни отчаянья, за ночи в слезах
Ты сбросила траур — и в прах,
Сожгла на могиле. Так решительно,
С таким искусством — что сама Жизнь
Резко свернула вниз,
Как дикий голубь, — села на твои плечи.

В День Независимости
Ты стартовала. И я, не Смерть,
Вел машину.
Но разве Смерть не ехала с нами?
Безработный попутчик? На крыше? На капоте?
Может, в кафе встречалась, на заправке —
Улыбалась? Или в холодильнике пряталась?
Бежала в тени колес?
Или ждала в твоих бумагах, в спальне,
Где привычки твои
Напомнят о ней? Ты скрыла ее
Даже от себя — обманула Жизнь.
Но твой цветок стал плодом, и в Англии

Созрел. Там акушерка твоя —
Индианка мала, черна, древна,
Полу-гонд, с напевной речью,
Счастливый талисман, жрица плодов.

Наша черная Изида сошла со стены,
Гремушкой потрясая —
Polymorphus Daemon,
Magnae Deorum Matris — с луной
Между бедер, с венком из колосьев.
Великая богиня лично
Надела твое тело, как перчатку,
Росла в нем,
Как в маске — то смешной, то священной —
На этом родовом ложе.

То не Смерть
Рыдала в тебе, когда ты лежала в крови,
Держа свою плоть, что кричала.
То не поэтическая смерть Подняла
тебя с простынь — и ты, Ликуя,
шатаясь,
К телефону кинулась, миру крича,
Что Жизнь с тобой сделала.
Все твое тело —
Во власти бессмертья и клятв его.
В твоих руках —
То, что не умирало, не ведало Смерти.

«Эпифания» / Epiphany

Лондон. Сиренью грязно-нежной
Вечер апрельский опьянён.
Я иду — за мостом Чалк-Фармским
Станции метро зовёт.

Я — отец молодой. В глазах круженье
От бессонниц и новизны…
Вдруг — навстречу парень, тенью
Вынырнувший из темноты.

Я скользнул взглядом впервые,
Проходя, — и вдруг замер:
Там, где раньше грудь пустая,
Не пустота — а зверь.

Не намёк на шерсть под тканью,

Не комок — лисенок!
Между лацканов, как в засаде,
Морда смотрит из груди.

Уши — лопухи, глаза — с болью,
Взгляд — сквозь страх, напролом…
«Да это ж лисёнок!» — вой
Вырвался невольным криком.

Я — стою. Он — тоже. «Где
Вы его взяли? Что с ним?»
«Фунт — и ваш». — «Но как же
Вынесть его в мир людской?»

«Купит кто-то. Дёшево —
Фунт всего». И смешок.
А я думал: «Что скажешь
Ты?» В наш дом — как? В тесноту —

К грудничку — этот дух
Дикий, леса страж?
А когда, возмужав, он
Захочет ночных ветров?

Эти двадцать миль пробега — каждый вечер,
Этот ненасытный зов
Ко всему, что за стенами,
К небу, к звёздам, к тьме лесов…

Как мы будем дрожь вселенной
В нашем ужине гасить?
Лисёнок ждал — решений важных
Ему б только убежать.

Уже не котёнок, но глазёнки
Ещё круглы, сиротски-мокры,
Будто плачут: «Где тёплые лапы,
Где молоко, где норы ковры?»

А вокруг — шёпот звёзд,
Где мать скрылась навек…
Мои мысли — как псы —
Обнюхивали его.

Я пошёл прочь — как будто
Из собственной жизни вдаль.

Я отпустил его. Швырнул
Обратно — в лисью судьбу.

Побежал — как в бегстве —
В подземки чёрный зев.
А если б фунт тот заплатил,
Если б к тебе вернулся с ним —

С этим комом рыжих бед,
Что браки рвёт —
Я б не дрогнул. А ты?..
Но дрогнул. Значит — не сдюжил.

«Цыганка» / The Gypsy

Собор возвышался, немощный,
Лишь позолота да камень. Чужим
Векам — его грозные стрелы,
Нам же — лишь мрак и бремя святыни.
Я видел Реймс и раньше. В последний раз.
Я больше не ступлю в его тень.

Но молния случившегося тут
Сожгла тот шёлковый, тайный, зыбкий
Путеводитель — как паук ткет нить,
Чтоб по ней шагать в «завтра», быть может.
Наш первый выезд из Парижа вдвоём —
Восторг открытий, заметки, маршруты...
Мы сидели в кафе, окунали
Круассаны в шоколад. Ты писала
Открытки, сжав карандаш. На плечах —
Плащ. Утро. Воздух прозрачен.

И вдруг — цыганка. Приземистая, чёрная,
Юркая, как лазоревка меж ветвей,
Иль нож официанта — створки устриц
Вскрывает, бракует, бросает
В ведро, к следующей — ловко, наотмашь.
Сунула тебе образок - Николая иль Марии —
Ладонью вверх. Без взгляда. Без просьбы.
Ты отказала — резко, как щелчок
Капкана. Твой «Нет» её остановил.
Она замерла, будто пощёчину приняв,
И палец — курок! — у виска твоего:
«Сгниешь ты скоро». Лицо — как узёл
Из старой кожи, глаза — как граппа
Давней злобы, изюм ядовитый...

И тут же исчезла меж столиков,
Оставив слова, что тяжелей собора,
Темней, глубже кладбищенских склепов —
Я принял их, как новую веру,
Или древнее проклятье...

Но ты
Писала открытки. А я дни напролёт
Слагал заклятья, искал рифмы, Чтоб
яд её обезвредить. Мечтал
Вернуться в Реймс, отыскать её,
Сунуть монету — откупиться от кары.
Но ты
Не вспоминала. Не вписала
В дневник. И я верил, что ты
Даже не слышала. Глухая, быть может,
От близких взрывов. Иль закрытая
В надёжнейшем склепе.

«Сон» / Dream

Твой страшный сон
Сбылся: звонок в ночи — не случай,
Не один шанс на миллиард,
А метеорит — прямиком в трубу,
С нашей фамилией на нём.

Не сны, твердил я, а свет планет
Ведёт живых. Но жажда, как кошмар,
Неотвратима, как вдох во сне.
Тебе пришлось приподнять крышку
Гроба — хоть на миг.

Во сне твоём или моём? Странный ящик для писем.
Ты достала конверт. Письмо
От папочки: «Я вернулся.
Можно остаться у вас?» Я молчал.
Для меня просьба была приказом.

Потом явился Собор.
Шартр. Как-то мы добрались до Шартра.
Для тебя — не впервой.
Помню лишь
Кувшин бретонский. Ты наполнила его
Всем, что у нас было. Последний франк.

Сказала: «Это для мамы».

Ты вылила наш воздух,
Нашу жизнь — в тот кувшин. А Шартр
(я это запомнил)
Висел на лице твоём, как мантилья,

Почерневший, узором копоти —
Будто после огня. Как монашка,
Ты лелеяла то, что осталось от папы,
Льёшь наши жизни в его кофе утром.
Потом разбила кувшин —

На звёзды грубые, на осколки,
Их отдала своей матери.
«А тебе, — сказала мне, — разрешёно
Помнить этот сон. И думать о нём».

«Минотавр» / The Minotaur

Тот стол из красного дерева, что ты разбил, Был массивной столешницей
Родового буфета мамы —
Весь в шрамах, как карта моей жизни.
Он пал под ударами.

Тот высокий табурет, которым ты размахнулась В безумии, узнав,
Что я опоздал на двадцать минут к ребёнку.
«Чудесно! — крикнул я. — Давай же,
Разнеси его в щепки!
Вот это — то, что ты в стихах своих хоронишь!»

А позже, холодней и трезвей:
«Подставь плечо под строфы —
И мы рванём вперёд». Но в глубине пещеры уха
Гоблин щёлкнул пальцами.

Так что же я ему дал?
Кровавый конец нити,
Что расплела твой брак,
Оставив детей — эхом
В тоннелях лабиринта,
Мать — в тупике,
Привёл тебя к ревущему,
Рогатому склепу отца —
Где твой собственный труп.

«Пан» / The Pan

Когда он наконец остановился на длинной улице
Маленького городка — после ста девяноста Миль
пути, — в пять часов, в сентябре,
Латунное, низкое, мокрое солнце Запада
Висело в конце дороги. И когда
Он вытянул онемевшее тело

Из машины, битком набитой книгами, пакетами
С посудой, ложками, детскими вещами,
Перешёл пустынную улицу в этом чужом городе,
Чтоб купить кастрюльку — греть молоко и пюре
Сразу по приезде,
За часы до мебели,

В их голый новый дом, в их новую жизнь, —
Он не заметил, что скобяная лавка,
Где взял он кастрюлю, уже два года
Была закрыта и пуста. А возвращаясь
С маленькой кастрюлькой, он не увидел
Мужчину на тротуаре — тот смотрел, не мигая,
Обняв молодую женщину в платье
«Почти ничто», с разрезом до бедра,
С ажурной шалью на голых плечах
И серьгами-леопардами.

Не узнал его. Не узнала и жена,
Когда он, выдохшийся, сел рядом,
Сжав руль «Морриса».
Что этот мужчина, в двух шагах от них,
Смотрящий так пристально,
Мужчина, настолько живее,

Чем оба они в их «счастливой» машине, —
Был он сам. Он знал их будущее.
Но не мог предупредить.

«Ошибка» / Error

Я привёл тебя в Девон. В край мой снов, в заповедный,
Где сквозь сон бреду я —
В мир тотемов. Не-быль: сад закатный,
Западный предел.

Я в простынях бился, в путах, в петлях родовых,
Но ты шла за мной —
Отчаянной, гордой, с верой в зов иных,
Скинув налетай

Королевских риз — слой за слоем, до нуля,
До души нагой…
И вошла, дрожа, в этот коридор из плит,

В мертвый путь — домой.

Где итальянский свет? Ускользнул, как мотылёк
С жгучей травинки?
Твой трансатлантический, яркий, как толчок,
Поезд-Орион —

Раздавил ли стоп-кран в этом рыжем тоннеле?
Вот почему мы
Не могли проснуться — лишь корни жгли в постели,
Сети тьмы-тьмущей.

Где свернули не туда? В саду, под стук дождя,
Под соломенной мглой,
Мы лежали, слыша, как викарий разлагай
Под бурьян-волной.

Что ты думала, когда за столом одна
Белый лист глотала,
Слушая, как с крыш сочится тишина,
Как прибой молчал?

Как в окно глядела на ту церковь в трясин,
На шиферный глянец,
На отлив, что обнажал — как синий синь —
Меркующий Лионесс.

Небеса — как дно. Деревья — как кораллы.
Лабиринт оград.
Женщины-«бородавки» (твой смешок усталый)
Нюхали твой взгляд.

Их глаза — как рытьё барсучьих лап во тьме:
Выгребали след,
Шепотом кроили приговоры мне,
Вековую спесь.

Мир кончался там, где тёлки у ворот В
топь вросли по грудь,
Где рёв, сотрясая дубняк, ищет вход —
Где ему вздохнуть?

Рядом с сапогами — жёлоб, что звенит,
Струйка, как запёк,
Ищет путь к реке… Но это наш запрет,
Это наш итог.

Всё, что вспомню, — в пузыре: странный хоровод,
Безголосый смех.
За стеклом — пустыня. Дождь. Чужая плоть.
Свадьбы мертвый свет.

На могиле — лилии. А под ними — глушь,
Где реальный прах
Всё ещё проходит сквозь любовь и ложь,
Сквозь наш старый страх.

«Жилец» / The Lodger

В углу двора росла картошка
Той сентябрьской порой. Первая добыча!
Плод нашей земли — и вкус её сладкий
Стал первой легендой. Мы — первопроходцы
Собственной жизни. В те дни я скупал
Лопаты, вилы, комбинезоны, сапоги.
И книги. О, книги! Я жадно глотал
Советы по саду, весь этот кладезь премудрый —
И ринулся в битву с землёй. Начал с размаху:
Перекопал всё. И моё сердце,
Всё, что таилось в нём, копали со мной.

Я думал — мне конец. Лишь вопрос времени,
Когда оно выпрыгнет из груди
Или просто порвётся. После часов копанья
Внезапно — удар, пот хлынул градом,
Дрожь. Сердце. Я уже привык.
Только оно. Гул. Грохот.
Ночью — на подушке прерывистый стук,
Будто в рулетку играет судьба:
Каждый удар — новый выстрел в висок,
Щелчок русской рулетки. Странно —
Лежать и вслушиваться, как оно
Крошит меня, будто зубную боль.
Но ведь это я — моё сердце. Оно — это я.

Моё сердце, что пело во мне
Сквозь все мои бури. Как оно могло предать?
Я носил его с собой, как больное дитя,
Тяжёлым грузом под рёбрами. Внезапный укол
Под лопаткой. Или меч — страшный образ —
Тонкий клинок, воткнутый вертикально
Возле ключицы. Или грызущая боль
Изнутри, под рёбрами. Хуже всего —

Нежданный упадок: из мощи — в ничто,
Как мотор, что заглох на ходу.
Сколько раз за день?

Ипохондрия шла под руку,
Как медсестра, с пальцем на пульсе.
Да, я умирал.
Я начал дневник — записывал
Все огрехи сердца.
Просыпался — руки как вата.
Ложился — и пальцы пульсировали так сильно,
Что книгу выбивали из рук.
Удары меж лопаток —
«Мягкие, но оглушающие, как пинок верблюда».
Внезапный прилив к горлу тёплой крови — Будто
птица с подбитым крылом
Вырвалась на миг из кошачьих когтей.

Я пытался весь стать проводником Бетховена,
Пропустить его музыку сквозь аорту,
Чтоб она очистила меня, освободила —
Но я был глух. Музыка лишь шептала,
Что я — отбракованный, что мне нет места В
мире, где льются созвучья. Я — обломок, Мой
разбег — лишь инерция прошлого,
А сам я рассыпаюсь. Я уже посмертен.

Взгляд любой твари — кошки, собаки —
Видел меня мёртвым, лишь по инерции
Тянущим дни. Зрение ещё
Держалось в глазах, но…

Моё новое занятие —
Изучать, как сердце убивает хозяина.
Как моё прикончило меня. Я молчал
Об этом год, два, три.

А тем временем —
Кто хозяйничал в моём сердце?
Кто ставил улей, сажал,
Моими руками, «девять рядов бобов» —
Для потехи? Кто этот чужой шутник,
Что вселился в нас, чтобы выжить,
Делил мою кожу, как твою,
Спокойно глядя, как я копаю?
И заглядывал через плечо

В стихи, что ты шлифовала,
Как в зеркала, что старались
Не замечать его?

«Нарциссы» / Daffodils

Помнишь, как нарциссы мы срывали?
Никто не помнит… Но мне — не забыть.
Дочь твоя, с охапкой, — радостно, едва ли
Осознавала. Не может вспомнить.
Даже тебя не помнит. А мы — продали.
Звучит как кощунство… Но мы их продали.

Разве так бедны были? Старик-бакалейщик,
Косоглазый, с лицом, как свёкла в грязь,
(Его шанс последний — он, как и ты, в той же стуже
Остыл навсегда) — уговорил нас.
Каждой весной он брал их, семь пенсов за дюжину,
«По традиции».

Да и хотели ль мы владеть
Чем-то навек? Нас манила жажда
Всё превратить в звонкий след.
Мы всё ещё странники — нам незнакомы
Собственные владенья. Нарциссы —
Лишь позолота на грамотах,
Клад. Они просто явились.
И длились, длились…

Будто не из земли — с небес упали.
Наша жизнь — набег на собственную удачу.
Мы верили: будем жить вечно. Не знали,
Что вечность — лишь миг. Не хотели признать,
Что наши дни —
Как брачный полёт мотыльков —
Умчат, не оставив следа.
Мы думали: дар. Не гадали —
Что это последняя благодать.

И мы продавали. Мы словно трудились
На чьей-то плантации цветов.
Ты клонилась под дождём — в апреле, что стал твоим последним,
Срезая стебли… А я был готов
Рядом гнуться. Шелест их влажных одежд,
Девичий испуг их платьиц,
Тонких, как крылья стрекоз,
Раскрытых слишком рано…

Мы складывали их хрупкий свет на верстак,
Раскладывали листья по связкам —
Гибкие, влажные, с серебром на губах,
Ставили в вёдра, погружая по пяткам —
Мясистым, нежным… И продавали.
Семь пенсов за пучок —
Раны ветра, судороги тьмы,
Без запаха, с отблеском стали,
Как дыхание льда —
Очищенье пламенем каменной мглы…
Мы продали их — чтобы завяли.

Урожай рос быстрее, чем мы успевали.
В конце нас с тобой захлестнула волна…
И ножницы — свадебный дар — мы потеряли.

Но каждую мартовскую оттепель вновь
Из тех же луковиц, сквозь тот же снег,
Как младенческий крик, пробивается зов,
Как балерины, дрожащие у строгих кулис,
Намного раньше оркестров и нот…
На той же волне памяти — всплеск,
Но тебя уже нет за дождливой завесой,
Где ножницы стебли щадяще делят…

Но где-то они помнят. Где-то лежат.
Здесь, под землёй — клинком вразлёт,
Апрель за апрелем
Вгрызаясь в пласт —
Как якорь. Как ржавый крест.

«Послед» / The Afterbirth
Свернувшись на полу, послед
Уже был отбросом.
Там — целый остров лотофагов,
Вывороченный с корнем, на свет,
Шлёпнутый в кровь газет — клубок
Алых зорь и лиловых сумерек,
Готовый для помойки. Ты смеялась и плакала
В этот слепящий свет. Ослепляющий блеск,
Как полуденное солнце, в которое вгляделся,
Ворвался в спальню, когда Горгона
Явилась, сорвала лицо
И швырнула на пол. Такую шокирующую
Красоту родила. Я видел, как вспыхнул

Загорелый немец, что изо всех сил
Швырнул морские кишки осьминога
Прямо на медовый причал —
В сине-чёрном огне
Моего солнечного удара.

Ты плакала
Своей самой большой, чистой радостью. Плацента
Уже бессмысленна, задохнулась.
Твои глаза, сверкая слезами, как я думал,
Ничьи карие больше не смогут, никогда,
Когда ты подняла это сияние. Я бережно
Переложил тяжкое, падшее Эдемье в миску
Из жаропрочного стекла. Миска с особым
Смыслом — затаившийся заяц
В своём кларете — свёрнутый, разрубленный труп,
Что я недели назад тушил в ней. Я чувствовал себя
Как чья-то тень на стене пещеры.
Как фигура с пёсьей головой
На стене гробницы в Египте. Ты смотрела на меня
С кровати, через окно,
Пока я закапывал миску с последом
В материнский холм древней Британии,
Под вязами. Ты больше не станешь есть зайца,
Тушёного в вине его же крови,
Из той миски. Заяц, гнездившийся в ней,
Раскрыл глаза. Как будто ночью,
Может, под густо падающим снегом,
Приковыляет из-под вязов
Во двор наш, крича: «Мама! Мама!
Меня сейчас съедят!»

Или мелькнёт,
Увёртываясь, ведьмин фамилиар, послан
Запечатать ошибку без исправления, когда
Он умрёт беззвучно, чёрный толчок,
Под моим задним колесом
На рассветном шоссе A30. Ты не услышала.
Но он истёк из моего пера. И возродился
На странице. Иероглиф зайца.
Ты подняла его, любопытствуя.
И он вскричал в твоё ухо, как телефон —
Луноглазый, растерзанный цветок его вскричал.
Потрошённый, оглушённый лик,
Неудержимо, как лопнувшая артерия,
Зайца в миске вскричал.

«Себетос» / Setebos

Кто мог сыграть Миранду?
Лишь ты. Фердинанд — лишь я.
Так и было, да, так и было.
Я не сомневался. Твоя мать
Играла Просперо, в чары погружена,
Чтоб маску нам надеть и брак благословить,
Подслушивая шёпот влюблённых
На парижских мостовых
И улыбаясь в тёмном зеркале стены.
Мой обломок корабля
Вдруг стал новым гардеробом, нетронутым,
Даже золото в зубах. Ариэль
Развлекал нас ночь и день.
Голоса, и звуки, и напевы
Были нашей аурой. Ариэль был нашей аурой.
Мы оба по очереди
Калибаном тайным были — он показывал нам
Сладчайшее, свежайшее, дичайшее
И любил, как мы любили. Сикоракса,
Кожура выеденной айвы из сада,
Качалась в дымчатой пене у горизонта,
За гранью, за кулисами небес,
Как режиссёр,
Вглядывающийся в грядущие сцены.

Но сюжет нас настиг. Калибан
Вернулся к истокам. Я услышал
Рёв в твоём голосе —
Он вздыбил волосы на загривке, когда ты пела,
Как тебя освободили из Вяза. Я лежал
В лабиринте первоцвета,
Без нити. Я слышал Минотавра,
Идущего по туннелю
Глубоких, горьких ран. Царь Минос,
Он же Отто — его рёв
Сливался с музыкой убийства. В какой
Мы пьесе? Слишком поздно найти тебя
И добраться до корабля. Луна, сорвавшись с якоря,
Металась в буре. Твой рвущий напев
Был криком внутри медного
Быка на костре. Хохот
Сикораксы гремел, как гром и молния,
И ливень чёрный. Она швырнула
Голову Просперо в меня —

Скачущую молнию, хлопушку.
Рога луны
Рвали тьму. Я слышал твой вопль,
Трубящий сквозь раскалённую медь:
«Кто разорвал нас на части?» Я пополз
Под плащ, сжимая
Всё, что осталось от меня, и слышал вой
Псов погони.

«Короткий фильм» / A Short Film

Не для боли снято было.
Для счастливых тех моментов,
Где вы, слишком юны, жили,
Не познав, как память точит.

А теперь — оружие, бомба,
Миной замедленной ставшая,
Пленка… Кадры, где ты резвишься,
Десять лет — и снова скачешь.

Серый тусклый кадр, размытый,
Но в нём — тонкий фитиль скрытый,
Нет, не фитиль — вибраций волна,
Детонатор, что в нас включён.

Взрыв — и боль не как угроза,
А как холодная проза,
Как на коже лёгкий ток,
Как спазм в теле — нам в намёк.

«Тряпичный ковёр» / The Rag Rug

Кто-то сплел его. Ты им любовалась.
И сама начала плести свой коврик.
Тебе нужно было. Будто молнии били —
Ты искала опору. Иль нужно было
Вытянуть из себя что-то —
Ленту глистов из глубин психики. Я же просто
Рад был смотреть, как смелы твои ножницы,
Как режешь шерсть платьев, когда-то дорогих,
На бинты. Тёмно-кровные, жёлтые,
Как нарциссы. Ты свила их в верёвку,
Вдохнула в них жизнь пестрой гадюки,
Что извивалась из гроба гардероба,
Как пелены мумий — прежних «я». Ты склонилась,
Как гончар над глиной, над вальком ковра,
Что рос, как колесо,

Ловя ритм незримой музыки —
Кончики лент шевелились, как языки,
Фуга, рождённая в завитках твоих пальцев.
Это успокаивало — творить змею,
Что сжалась ковром. И ковёр
Поднимал нас, вращаясь,
Прочь из багровой комнаты наших сердец.
Он освобождал тебя. Освобождал меня
Для дел, что казались пустыми.
Когда ты плела — я был счастлив.
Мог читать тебе Конрада вслух,
Качать твой свободный ум на волнах голоса,
Глава за главой, фраза за фразой:
«Сердце тьмы», «Тайный сообщник».
А ты — я чувствовал — пальцами
Гладила мой текст, час за часом,
Собирая радугу змеиного тела.
Я был заклинателем — голос мой Колыхал
тебя над клубками. А ты Выкапывала
нечто глубже наших стихов.
Знанье, как половинки сломанного магнита.

Помню
Те вечера в багровых тенях —
Словно кадры, где рука
Тронула сокола, и он не взмыл.
Будто вёл твою ладонь, чтобы ты
Погладила сокола своей рукой.

Позже (не намного)
Твой дневник признался кому-то,
Какую ярость ты вплела в тот ковёр.
Будто вытянула его, как свои кишки,
Через пуповину.
Кто был матерью? Кто ребёнком? Ты сплела
Эту связь между нами —
Чтобы вырваться из меня? Или
Чтобы вытолкнуть меня? Ты скрутила
Этот клубок — экстренный ритуал —
Чтобы стянуть петли холодной пустоты,
Что росла между нами? Или это
Проклятье хриплой старухи,
Что не спит, даже когда спит — её чары
Вплели лабиринты в уют половика?

Кольца стали мамбой. Смертельной.

Лёгкий укус — если наступишь —
Менял кровь. Если я перешагивал —
Мозг и нервы искрились.

Мне снился наш дом
До того, как мы нашли его. Огромная змея
Подняла голову из колодца в центре дома —
Там, где он и есть, под плитой,
В самом сердце жилья.
Золотой змей, толще детского тела,
Выскользнул из раскрытой шахты. И лился,
Лился через чёрный ход, казалось — без конца,
Пока хвост не исчез за порогом,
За стёртым порогом, что скоро стал нашим.
Это было после того, как дом
В моём сне перевернулся. И двойник —
Идеальный, из мира-наизнанку —
Встал на место, щёлкнув, как замок,
Под чужими звёздами, с толчком подземным,
Разбудившим змею.

Тряпичный ковёр,
Что сполз с твоих колен на пол,
Лежал, свернувшись между нами.
Как он пришёл,
Где обрёл язык, клык и смысл —
Он пережил наш Эдем.

«Стол» / Table
Я хотел сделать стол для твоих строк —
Прочный, чтоб навек. Купил дубовый толстый пласт,
Где дикая кора, как гребень волн,
Грубо срублен для гробов. Но дубовый сплав
Переживает смерть — в земных водах
Он дольше бережёт покойников, чем ясень,
Сосна или бук. Рубанком я стёр
Все шероховатости — чтоб чистый взлёт
Был твоему перу. Я и не знал,
Что дверь собрал — вниз, прямо в тьму
Могилы твоего отца. Ты склонилась Над
ним, с восторгом потягивая кофе, Как
зверь, что чует ветер, слушает Боль в
себе — и находит нужный корень. Ты
быстро разгадала письмена,
Что прятал дуб. И я, в смятенье, видел,
Как средь бела дня встаёт из щелей

Твой воскрешённый отец — голубоглазый,
Немецкий кукушонок, бьющий в срок,
Подменивший всю твою память. Хромой,
Он вполз в наш дом. Пока я спал, дрожа,
Он втиснулся меж нами. Ты обернулась —
И узнала. «Стой! — кричу. — Кто здесь?»
Но мой вопрос глушил его язык —
Немецкий, мне невнятный. Я вскочил
В ещё более глубокий сон. Шёл, будто
Актёр с испорченной ролью, слепо
Сквозь зеркало. Я обнял госпожу Смерть,
Твою соперницу, будто роль была
Мне выжжена на веках фосфором. Ты ж,
Обвив его в восторге, дала увлечь
Себя сквозь дверь в дубовом столе.
Он получил своё. Я ж очнулся
На пустой сцене — с бутафорией,
Жалкими масками. И текст пьесы
Разорван, рассыпан, шифр его спутан,
Как осколки, как лезвия
Разбитого зеркала.

А теперь твои «поклонники» глядят
На чернильные пятна, на знаки,
Где ты писала ему — молила, кляла.
Уже не стол. Уже не дверь. Просто доска.
Крышка гроба, сорванная насильно
С твоего взгляда ввысь. Её выбросило
На поверхность — за океаном,
Диковинкой,
Смывшей пот, что впитала, пока
Я искал для тебя отца…
И оставил тебя с ним.

«Опасения» / Apprehensions

Твой страх был спрятан в буквах строк,
Порой он становился диким:
Что свадьбы дар, и сон, и муж,
И всё, что было заветным,
Украдут гоблины из тьмы.
Пишущую машинку. Швейную. Детей.
Всё отберут.

Тот страх был — цвет твоего стола,
Ты различала его черты.
Рисунок древесины — как шрам,

Его касалась ты рукой.

Он отдавал в твоём кофе с молоком,
Шуршал, как клавиши под пальцами.
Он прятался в твоих вещах —
В терракотовой русалке на камине,
В медном котелке для фондю,
В белье, в складках занавесок.

Ты смотрела на них — и знала: он здесь.

Он жил внутри твоего пера —
Там было его логово.
Стоило тебе начать писать,
Ты застывала на полуслове,
Чтоб разглядеть его: чёрный, жирный,
Между пальцев —
Раздувшийся ужас, что вот-вот
Рванёт наружу и отнимет
Мужей, и детей, и тело, и жизнь.
Ты видела его — там, в чернилах.
Но кто-то забрал и это.

«Жизнь во сне» / Dream Life

Как будто каждую ночь ты спускалась
В могильный мрак отца —
Боялась взглянуть или вспомнить наутро,
Что видела там. Когда ж всплывало,
То снилось море, где трупы, как тина,
Лагеря смерти, расчленённых тела.
Твой сон был кровавый алтарь, казалось. А
священной реликвией в нём —
Гангренозная нога отца.

Не странно ль, что сна ты страшилась?
Не странно ль, твердила: «Не помню…»

Какой литургией дышала

Та ночная служба, тот культ,
Где жрицей была ты? Стихи —
Обрывки спасённых из бездны слов?
День был — полегче, но хрупко,
Ты цеплялась за него, не зная,
Что пугало тебя
И откуда стихи приходили,

Следы оставляя в крови. Каждой ночью
Я гипнозом вливал в тебя мир,
Смелость, пониманье и мир. Помогло
ли? Но вновь ты спускалась

В храм-склеп, в катакомбы,
В ту пещеру первобытной тьмы
Под куполом всеобщего поклоненья.
Всю ночь ты металась без сознанья
Над черною щелью,
Вдыхая пророчества,
Что шептали лишь приговоры.
Отрубленные конечности,
Дым госпитальных крематориев,
Нищие с культями на ярмарках,
Газовая камера, печь
Фотокорреспондентов войны —
Всё это было анатомией, плотью
Твоего Бога Сна,
Его синие глаза — бессонные электроды
В твоих висках,
Готовящие Пир Искупленья.

«Идеальный свет» / Perfect Light

Вот ты — вся в чистоте своей нетленной,
Средь нарциссов, как на старом полотне.
Подпись: «Невинность». Лик твой просветлённый
Льётся, как цветок, в безоблачном огне.

Тот апрель был первым… и последним.
Сын в твоих руках, как плюшевый медведь, —
Нежный комочек, нет ещё и месяца.
Мать и дитя… Святость есть!

Рядом дочка — два ей, не накинешь.
Смех, как звоночек. Ты склонилась к ней,
Шепчешь что-то… Но слова не слышны.
Камера не ловит фраз и вестей.

А под холмом, где ты так безмятежна
(Холм-крепость, выше, чем твой скромный дом),
Тьма копила гул шагов нездешних…
Но в кадр не ворвался мрачный гром.

Твой следующий миг — как солдат усталый,
Бредущий с поля боя, чуть живой, —
К тебе шёл… но растаял, запоздалый,
В этом свете — ясном, золотом, слепом.

«Ловец кроликов» / The Rabbit Catcher

Май. Как началось? Что вдруг

обострило нас? Какой изгиб
лунного лезвия — так рано —
в кровь превратил наш день? Где мой промах?
Я что-то не уловил. Недосягаем,
в ярости тёмной, как диббук, ты швырнула
детей в машину — и в путь. А ведь, кажется,
мы собирались просто к морю,
на поиски света… Но вот — мотор ревёт,
и ты за руль.

Я помню лишь: «Она натворит бед».
Я рванул дверь, втиснулся рядом.
И мы помчались на запад. Дороги Корнуолла, кипящее
перемирие. Ты смотрела вдаль
с железом в лице — в какой-то
громовой край, в нездешнюю войну.
Я ж — лишь аккомпанемент: нёс детей,
ждал, когда в тебе проснётся природа.

Мы искали путь к воде. Ты клокотала:
«Весь берег — заборы! Море — как тайна
для этих жадных островитян!»
Ты плевала на грязь английских окраин.
День яростных фурий! Я карту рвал,
чтобы прорваться сквозь фермы и замки.

И вот — калитка. Свежесть мая. Где-то
я взял еды. Мы пересекли поле,
и нас толкнул в лицо ветер с обрыва.
Утёс в желтухе дрока, лощины дубов.
Мы нашли гнездовую ложбину у края —
казалось, тут покой. Но даже с едой
твой германский взгляд, жёсткий, как шлем,
отказывался смягчиться. Я сел, потерян.
Как муха снаружи на собственном окне,
я лип к стеклу нашей драмы. Ты не могла
просто лежать, ненавидела лень.
Этот плоский поддон — не океан.
Ты встала и ушла. А я —
поплёлся следом, как пёс, по кромке поля,
сквозь ветровые дубы…

И нашёл силок.

Медная проволока, шнур — человечья петля,
новая, не тронута. Без слов

ты вырвала её, швырнула в чащу.
Я остолбенел. Верный
своим деревенским богам, я видел
святость охоты — поруганной. Ты же —
грубые пальцы, кровь под ногтями,
впившиеся в кружку. Я видел бедняка,
что кладёт в котёл добычу. Ты — детские глаза,
задушенных невинных. Для меня — обычай,
древний, как голод. Ты рвала петлю за петлёй,
выдёргивала с корнем, бросала под дубы.
А я видел, как гибнут
ростки моего наследия,
право на жизнь, выстраданное
виселицами, каторгой…
Ты кричала: «Убийцы!»
Рыдала от гнева,
где кроликам места не было. Ты
заперлась в камере без кислорода,
где я не мог тебя найти,
не то что понять.

Но в тех силках
ты поймала кое-что.
Может, что-то во мне —
ночное, мне чуждое? Или
свой дух, замученный, задыхающийся?
Неважно. Чуткие, страшные
пальцы твоих стихов сжали это
и почувствовали: живое. Строфы,
как дымящиеся кишки,
ложились в твои ладони.

«Божий Пчёл» / The Bee God

Когда ты пчёл хотела — я не знал,
Что твой Отец из колодца восстал.
Я улей старый выскоблил дотла,
Ты ж — в синих птицах, в алых сердцах — белила.

И вот ты — Аббатиса
В монастыре из пчёл.
Но твой наряд, вуаль — как для венца,
А я и не провидел жениха.

Тот май, тот сад, то лето, зной дрожащий,
Каштаны, будто духи, клонят лапы — Опять
свои перчатки мне сулят,

Но как принять их — я не знаю сам.

А ты склонилась над пчелиным роем,
Как над Отцом когда-то у могилы.
Твой паж — их тёмный рой,
Под цветом белым — чёрный рой густой.

Ты с Отцом — в сердцевине,
Твой тонкий стан — на весах.
Я понял: то, что дал тебе,
Унесло тебя в гудящий мрак.

Громовая туча новых «Я»
Колышет золото твоих кудрей.
Ты не хотела, чтоб я ушёл,
Но у пчёл — свой заговор.

Ты жаждала мёда, млечных этих роз,
Где плоды, как младенцы, ждут.
Но пчёлы строили углы,
А твой Отец — диктовал полки.

Когда первая пчела коснулась волос,
Ты в грот грозы вгляделась.
Гонец запутался, жалил, бился —
Метил в цель.

И я — как заяц под выстрелом —
Мелькал в свистящем свете,
Пока пчёлы вбивали в меня
Свой электрический заряд.

Твоё лицо молило спасти меня
От приговора.
Ты рванула ко мне —
Сорвана вуаль, сброшены перчатки,

Но пока я стоял,
Вырывая из волос
Липких, разорванных пчёл,
Одна — слепая стрела —

Взмыла над крышей,
Впилась мне в лоб, зовя своих,
И те явились —
Фанатики своего Бога,

Глухие к твоим мольбам,
Как звёзды на дне колодца.

«Быть подобной Христу» / Being Christlike

Ты не хотела быть подобной Христу.
Хоть твой отец был Богом — иного не знала,
Ты не хотела быть подобной Христу.
Хоть в любви отчей шла ты, хоть впилась В
чужие глаза матери. Что ей с тобой, Когда
она лишь уводила от Немого?

Когда её веки, как капюшон,
Опустили луну так низко,
Суля землю, ты вспыхнула —
Узрела рок и вскрикнула:
«Изыди!» Ты не желала
Быть подобной Христу. Ты рвалась

К отцу — где б он ни был. Но плоть
Преградою встала. А род,
Что плотью же стал,
Тебя отягчал. И любой бог,
Кем отец твой не был,
Был лжив. Но ты не
Хотела быть подобной Христу.

«Пляж» / The Beach

Ты билась, как угорь в ноябрьской пучине,
Ты жаждала моря. Я знал не больше
О пляжах Корнуолла, чем ты сама.
«Вокруг — великолепные!» — твердил я.
Ты видела обрывы — рваный склон
У Хартленда, где в ягодах густых
Мы брели в ту первую неделю,
Одурманенную братом. Но сейчас
Тебе нужен был пляж, как доза. Ломка
Душила, ослепляла. Мрак сгущался.

Англия — вся в грязи! Лишь океан
Сможет смыть её. Солёный шквал —
Тебя. Ты жаждала песка, огня,
Того «кристалла в сердце» — вспышек бури,
Что били в Наусет, крутя, как дрейф,
Крабов и раковин. Ты задыхалась
Без прежних лет — тех, где ты жгла кожу

До черноты. Но здесь — тускла, мертва
Вся жизнь. «Почему здесь чёрный цвет
Дешевле? — ты шептала. — Может, грязь
Скрывать? Иль это скорбный этикет,
Как зонтики, как шляпы? Каждый авто —
Похоронный катафалк. Дорога —
Траурный кортеж времён Виктории,
Где хоронят свет, и краски, и тепло!»

Лондон — морг, где пыль и полутьма.
Наш «искусства пик» — депрессия!
«Почему все носят грязный цвет,
Будто маскируются?» — «Увы,
Мы не вылезли, — сказал я, — из окопов,
Из бомбоубежищ, из нор».

Но я помню, как впервые увидел
Манхэттен с палубы «Королевы» —
Карусель машин, где яркий цвет
Цвёл, как знамя. Свет, как колибри,
Бил в зрачки. И странный стыд — понять,
Что я, как зверь из спячки, вылезаю
Из «утильного» быта, нищеты, Что
носил, как дембельский мундир, С
гордостью больного.

Я хотел найти для тебя пляж,
Где в сердце — новый кристалл зажжётся,
Где током нежности тебя поднимет
Другая Англия — как Авалон,
Чей ключ во мне. Я выбрал Вулакомб —
Тот пляж, где вал, как дымка, стелется,
Где с Багги-Пойнт, с утёсов, смотрят
Соколы, акулы, тюлени,
Где волны швыряют бисер пены,
Как вышивку для старых миниатюр.

Но кризис грянул поздно. Мы приехали
В ноябрьский вечер, в час, когда ливень
Хлещет по крышам чёрных машин,
По лужам, ямам. Дождь утих.
Три-четыре авто ждали «гуляк» —
Тех, что брели, кутаясь в пальто.
Фонарь над стоянкой убивал надежду.
Море, будто оглушённое,

Бездействовало. Над ним
Громоздился мрак на западе —
Холодный, как печь среди золы
В доме без крыши. Ты не вышла.
Ты сидела, как за маской, немой,
Глядя в океан, что предал тебя.

Я подошёл к воде. Тупой вал
С трудом приподнялся и шлёпнулся.
Плеснула жижа, чёрная, как нефть.
Вот и изнанка блеска Наусета —
Решка упавшей мечты. А здесь,
У ног, в пене — её лицо,
Настоящее, смотрит вверх.

«Сновидцы» / Dreamers

Не мы нашли её — она нас.
Почуяла. Рок, что в ней таился,
Выследил нас,
Собрал, как слепые ингредиенты
Для опыта. Миф, что в ней клубился,
Призвал и тебя, и меня, и её —
Куклы для действа.

Ты была зачарована. Её взгляд ласкал,
Плавился, лил на тебя слёзный блеск.
Немецкий её — тёмный сплав
Под бриллиантовым кенсингтонским лоском —
Был шепотом прадедовских Чёрных Лесов,
Но с сажей крематорной, жирной, как кровь.

Когда же внезапно глаза округляла,
Выпучив их, как в петле, — ты вздрогнул.
Это была ложная мука.
Но ты видел: в ней задыхались повешенные,
А когда сквозь дым наблюдала, слушала,
Серый зрачок в чёрном кольце —
Был волчий, из сказок Гримм.

Ты растила её осторожно,
Её еврейство, её многокровную прелесть,
Как будто твой сон о себе предстоял —
Сверкающая чернота, Европы мистический клад.
Тварь из тьмы за краем лампы.
Кто эта Лилит абортов,
Что трогает волосы твоих детей

С когтями, как у тигрицы?
Её речь — тарантулы, увечья Гитлера —
Сквозь грядки лука с тобой говорила.
Бывшая гитлерюгенд сабра. Её отец —
Врач Большого балета.

Она тоже была беззащитна.
Никто из нас не мог проснуться.
Кошмар глядел в маковые поля.
Она сидела в подтёкшей туши,
В огненно-оранжевом шёлке, в златых браслетах,
Слегка грязная от эротических тайн —
Немка,
Русская, израильтянка с демоническим взглядом Меж
прядей чёрных, как монгольская ночь.

После ночи под нашей крышей
Она рассказала сон: огромная щука
С глазом-шаром, золотым, а в нём —
Кровоточащий человеческий плод…
Ты изумилась, может, позавидовала.
Я толковать отказался. Я знал:
Её сновидец
Влюбился в меня — и не ведал того. А
мой сновидец
Влюбился в неё — и я ведал.

«Сказка» / Fairy Tale
Сорок девять — твой магический счёт.
Сорок девять — свет,
Сорок девять — тьма. Сорок восемь
дверей в твоём замке — ответ.
Но когда ты скрывалась во мраке,
у меня оставалось сорок восемь
комнат для тоски. А сорок девятой —
ты хранила ключ. «Распахнём её вместе», —
ты шептала. Но волос огонь — и бросок
в бездну.

Каждую ночь. Твой любовник-Чудовищ,
что весь день восставал
из могильной плиты,
под звёздами ждал.
А у меня — сорок восемь ключей,
сорок восемь дверей, сорок восемь теней.
Твой Чудовищ был слит

из всех прежних страстей —
в одном колдовском теле.
Ты скрывала в дневнике
число, имена,
где, когда... Лишь один
сквозь ночную пелену
полыхал, как жерло.
Но я слеп был — не видел,
как плавится он
в твоих слёзах, как дёготь,
как детский ночник,
что хранил твой покой.

А Чудовищ хватило с лихвой.
Каждой ночью ты мнила себя мертвецом,
каждой ночью — летела во тьму.
Но днём — улыбалась,
слушая мой
рассказ про секреты
тех 48 комнат.
Твой смех делал ложе мягким.
Сказка? Да.

До того дня, когда крик
разорвал твой сон.
(Нет, не мой — твой.
Твой.) Ты стонала,
изнывая по Чудовищу,
в жгучем бреду.
Я, седея, ловил
эхо в залах дворца —
выше орлиных гнёзд. Пока не услышал
стук в сорок девятую дверь —
как сердце в рёбра.
Этот звук был страшней.
Он бился в дверь, как сердце,
рвущее плоть.

В первую ночь — после прыжка
вниз, навстречу рукам,
что тянулись из бездны, — я
ту дверь нашёл.
Сердце — в рёбра, как молот, —
я сорок девятую открыл
тростинкой. Ты не знала,
какой отмычкой

мне служил этот хрупкий стебель.

Я вошёл.
Сорок девятая комната вздрогнула от
рёва Чудовища —
стену пробив, он рухнул в
пропасть. Я мельком
увидел его, споткнулся
о твой труп — и полетел следом в
его бездну.

«Чёрный дрозд» / The Blackbird

Ты был тюремщиком своего палача —
Но сам в застенке тлел.
А я — твой страж, твой врач, твоя свеча —
Твой срок мне тоже сел.

Ты притворялась, будто не в беде,
Глотала еду и питье.
Ты косилась, как младенец во сне,
Под веками чуть видно.

Но в каменный мешок, сквозь щель в дверце,
Ты злобу подливала —
И вдруг, как скорпион, в одно сердце
Спуск винтовой пронзало.

У окна — огненный мак, багровый шар,
Ты крикнула: «Смотри!»
И чёрный дрозд, как крюк, втиснул в удар
Червяка в свои груди.

А луг лежал, как страница в тюрьме,
Чистый лист, пустой…
Кто напишет что на нём —
Мне было всё равно.

Но глупое созданье у жерла печи
На вилах, как перо,
Уже чертило: ложь есть речь,
А правда — нището.

«Тотем» / Totem

Чтоб отогнать неведомое или приманить, Ты
рисовала сердечки везде.
Твой знак — не иной.

Твой священный предмет.

Порой обводила их венчиком — будто в тетрадке
Цветы восьмилетней руки: зелень листвы, жёлтый цветок.
Порой — голубую пташку, как в детской загадке.
Но чаще — сердца. Или алый один силуэт.

На раму зеркала, выкрашенную в чёрный, —
Сердца.
На старую «Зингер» — чёрную, скрипучую, —
Сердца.
Багряное на черноте — как крохотный свет.

На колыбель, что я сделал для куклы, —
Сердца.
И на порог, где шагнул твой сынишка, —
Сердце —
Алое на черноте, как кровавый след.

Твоим талисманом было оно, твоей силой.
Как у христиан — Крест, у тебя — Сердце.
У Константина — Крест, у тебя — Сердце.
Твой Джинн. Твой Ангел. Твой Демон-рабыня.

Но когда, ища спасенья,
Ты кинулась в объятья Ангела-хранителя,
Им оказался Демон. Как рыбья мать,
Что, слишком жаждая оберечь,
Тебя пожрала.

Теперь всё, что находят люди, —
Книга в цвет сердца — пустая маска
Твоего Джинна.
Маска
Той, что, раскрыв объятья, будто для ласки,
Тебя пожрала.

Крохотные сердца, оставленные повсюду,
Как следы твоей паники.
Как брызги раны.
Как след
Той, что поймала и съела тебя.

«Обкрадывая себя» / Robbing Myself

Я шёл через снег — слежавшийся, плотный,

Лёд, как стекло, обточенный ветрами,
Полз по трассе А30, две сотни миль,
Дороге неестественной и знакомой,
Дороге в себя — после катастрофы,
После крушенья небесных светил.

Худший за пятнадцать лет снегопад, Двадцать
миль в час — сквозь рухнувший свет. Я добрался
к дому
В синей декабрьской дымке.
Света хватило,
Чтоб вилами поднять картошку,
Раскрыть бурт, сорвать снежное покрывало.
Она казалась почти тёплой в соломе.
Она дышала сладостью
Надежд, что я в неё закопал.

Это было гнездо —
Тайное, живое, яйца грядущего года,
Моё пухлое потомство, моя скрытая семья,
Маленькие земляные зародыши, маленькие кулачки,
Нахмуренные лбы и древний, новый запах земли —
Сонный, сырой.

Я перебрал яблоки —
«Виктории», «поросячьи носики»,
В тёмном сарае — и толстые «Брэмли».
Мои весенние молитвы ещё тверды, Моё
лето цело, несмотря ни на что.
Я наполнил для тебя
Мешок картошки и мешок яблок.

А потом проверил гладиолусы —
В пыльном чердаке, в сухих тряпицах, спящие
(Я не знал, что они замерзают насмерть).

Потом крался по дому. Ты не знала,
Как я слушал наше отсутствие,
Как призрачный вор, или как странно ликовал
В этом узорном коридоре, в снежно-синем сумраке,
Таком точном и нежном, как тёмный сапфир.

Гостиная, наша алая спальня,
С белыми книжными полками, с терпеливыми книгами,
С шатким ореховым столом за шесть фунтов,
С конским креслом за пять шиллингов —

Ждала только нас. Было так странно!

И алый водопад лестничного ковра
Вёл к пещерам XII-вековой тишины,
Которую мы едва нарушили своей новизной.

Стоя внизу, под тяжестью снежных крыш,
Я слушал, как слушают мозг нерождённого ребёнка —
Тихую жизнь за стеной.

Дом стал мне дороже
Из-за твоих последних одиноких недель,
Из-за твоего плача.
Но он был сладок от чистоты,
Плотен, как бархатный ларец
В сейфе
В декабрьских сумерках.

А за стволами зимних ветвей
Витражи церкви светились,
Словно солнце утонуло внутри.

Я слушал, закрывая его от себя
(Впереди — двенадцатичасовой ползок по льду).
Я заглядывал, как в замочную скважину,
В свой затемнённый, затихший, надёжный ларец,
Из которого (я не знал)
Уже утратил сокровище.

«Кровь и невинность» / Blood and Innocence
В глуши пустынной,
Между саранчой и мёдом,
Они потребовали это. «О, нет проблем».
«Если лишь этого вам надо» —
Вы сказали — и отдали.
Ваш электрический разряд, зигзагом пробитый.
Как святой Антоний в миг, когда
Демоны настигли его.
Душа, как флейта, — треснула на иглы,
Бамбук, взорванный динамитом.
Электроды шипят под чёлкой белёсой —
Ваша улыбка чуть напряжена.
Шевеля щупальцами,
Они уволокли это в свои норы.

Они вернулись. Потребовали другое —

Вот это. «О, нет проблем»,
Вы сказали, «даже проще».
Себя — как Франкенштейн, на деревянных ногах,
Матереубийца, маска из гипса,
Как у Бетховена. Большой палец
Под кадыком, язык в фут длиной —
И себя — куклу, ваше отраженье,
Ваш двойник на клёне у Райского пруда.
Но себя — младенцем вновь, заново рождённой,
Не от крови матери, не от Христа —
Омытой и возрождённой лишь в собственной.

Нет, это было не то. Им нужно
Вот это — другое. «О, нет проблем,
С чего бы вам молчать?»
Папа, извлечённый из земли. И девятилетний вой,
Возмужавший,
Впившийся в его лодыжку, как верёвка телеги —
Тянущий его на свет.
И гром, копытом скачущий по пустоши —
Хрип Тора
В аккомпанемент
Этому вою.
Сам голос Тора,
Топчущий тело Папы в пляске молота,
Мстящий за двадцать лет покинутых
Рыданий Германии —

Они, хихикая, галдя, ликуя,
Поволокли это в терновник. «Ну как,
Так сойдёт?» — вы спросили.
Вы искали одобренья
У требующих ртов
В позолоченном театре, вдруг опустевшем —
Лишь лица,
Лица, лица, лица, лица
Мамы Папы Мамы Папы —
Папы Папы Папы Папы
Мамы Мамы...

«Дорогая речь» / Costly Speech

Луна Манхэттена меж небоскрёбов
Тебе запрещала.
Луна новая, с ней все фазы света,
Скользя по рельсам рассвета
От взлёта до паденья — запрещала.

Даже бобёр, что в водах Аляски
Встал, чтоб видеть, как сын твой
Скользит по волнам реки Дешки, —
Тебе запрещал.

Йосемити древнейший корень,
Иглу за иглой вонзая,
На страницы дочери с подписями
Непоколебимо запрещал.

Луговые собачки Вайоминга
(Даже те, что не съели твой виноград) —
Тебе запрещали.

Жёлтый Камень: кипящие краски,
Пузыри, что, лопаясь,
Залили звуком твой портрет в рамке, —
Тебе запрещали.

Даже рыбы в озере Пончартрейн,
Лениво всплыв рядом, где ты плыла,
Ночью за ночью
Тебе запрещали.

Нозет во сне застонал,
Забормотал, зашептал запрещенье —
Мили содроганий встали и рухнули
Громовым «Нет».

А с далёкой земли фото бабушки,
Свадебный снимок, спешило запретить.

Как и твои же слова,
Раз и навек отданные брату,
Заложники-клятвы,
И мои — воздушней, но в строй призванные, —
Запрещали, запрещали.

Все они — просто стража,
Все зевали,
Не зная, как левая рука твоя
В зеркале писала напротив правой, Половина
в муке, половина в смехе.

Не зная жуткой алхимии шанса,

Взлётов и падений
В сетчатке редакторов.

Не зная штифтов в замке
Авторских прав США,
Что мёртвые пальцы так ловко сдвинули.

«Надпись» / The Inscription

Сугробы, как торт, громоздились в тени.
Серые баррикады — застывший песок.
Лёд. Лёд.
Его утро — плоский, в пыли,
Сквозь соховский смог. Кирпичный свет. Новый свет.
Пустота, что разгружена с барж.
Лёгкость ящиков, пустота. Но во льдах
Её нос проломил проблеск — и в трюме
Теплится груз. Расколотый панцирь,
Молния жёсткой воды, и она
Приближалась. Так вот он где.
Ей нужно было — увидеть,
Найдя его мель, риф или камень,
Как взгляд её шарит по стенам, ныряет
В углы, словно пёс в новом доме. Как пёс,
Учуявший крысу. Вот кровать. Да.
Вот телефон. Но номер ей знаком.
Больше всего ей нужна была вера.
Рыдая, она умоляла: «Скажи,
Что веришь в меня!» — «Да, да. Обещай,
Что летом под золотым дождём
Мы сядем вдвоём». — «Да», — сказал он, — «да, да, да».
Лабурнум в синей мгле — как покойник в цвету.
Лабурнум — как труп в золотом уборе.
Огромные часы его — стрелки на дне,
Бьют: «День, день, день…»
Но что значила «вера»? Да, он верил.
Он обещал ей всё, что просила,
А она говорила — «Мне нужно,
Чтоб ты исчез из страны, растворился».
— «Сделаю всё, что велишь. Но чего ты хочешь?
Уехать на Север вдвоём на неделю
Иль чтоб я сгинул с земли?»
Она плакала, ждала подтверждений —
Веры в неё. А он, спотыкаясь (хотя должен был схватить),
Шептал: «Делай со мной, что угодно. Я — твой пакет.
На мне — лишь наш адрес. Распакуй
Иль переадресуй». Потом

Она увидела Шекспира. Тот красный томик,
Что разорвала в клочья когда-то,
Когда счастье казалось нерушимым. Воскрешённый.
Пальцы, не веря себе,
Раскрыли его. Прочла надпись. Закрыла.
Без дрожи, как зверь на бегу,
Получающий пулю — и даже не сбавив
Шага, — она вновь начала
Молить о подтвержденьи. И он давал,
Снова и снова, давал то,
Чего не хотела она — или хотела,
Но принять не могла, не держала
В слабеющих руках, пряча от него
Рану, что сама нанесла, метя в него,
Рану, что выпотрошила
Из её рук силу держать его против
Удара её же слов, что пришли
Из ниоткуда, прошли насквозь —
И убили его.

«Телос» / Telos

Слишком много Альф. Слишком много знаков.
Солнцем выжжена Альфой. Глаз устал,
Голова гудит — боль, маета, содом,
Тошнотворный Альфа-шквал.

Ты бросила школу — она рухнула
В вихре Альф. Ты в зубах трясла
Громоотвод — но в небесных знаках
Альфа вновь плыла.

Ты искала выход — ныряла в подвал,
В темноте, зажмурив глаза,
Вывернула мать наизнанку,
Как перьев подушку — раз!

И снова в Альфах — с ног до головы.
Топала, топала в злости,
Как Румпельштильцхен — по крышке гроба,
И оркестр грянул: Альфа!

Весь стадион ревел: Альфа!
Ты целилась в шарики-пинг-понг —
Парни прыгали, фонтаны били,
Но все пули — в Альфу легли.

Выиграла куклу — огромный Альфа
С волосами, как лён.
Размолотила табуреткой —
И оттуда: тик-так — Альфа!

Кровавые следы на снегу
Складывались в Альфа-знак.
Но куда б ты ни рвалась —
Фурии Альфы по пятам.

Ты проползла под буквами,
Перепрыгнула алфавит,
Рванула за Омегу —
И в сверкающий Альфа-мир
Рухнула вниз.

«Бразилиа» / Brasilia

Ты вернулась
В стальном шлеме. Беспомощно,
Нас втащили в суд — твой амфитеатр, Рот
зажат тишиной.
Судороги ужаса,
Капля пота в ложбине хребта.

Ты изрекла
Три приговора. Ни шёпота
В этой немоте.
Твоя великая любовь изрекла. Лишь
преступленье страшнейшее Могло
низвести
Клинок молнии —
И он рухнул. Ослеплённые,
Все закашлялись в озонной мгле.
Даже псы остолбенели. А тот же всполох
Вознёс тебя в Небеса.

Прихвостни Колизея
Выносят тело отца твоего.
Другой — его голову. Твоя мать
Встаёт и, к ужасу всех,
Шатаясь, идёт, свою голову неся.
Прочие слуги тащат меня и мою.

С той поры, каждый день, по всей Империи,
Как призрак материнский, что выла
По ночам в Теночтитлане —

Пока Кортес не стёр его с карты —
Твои идолы кричат на постаментах,
Без слёз. Твои портреты, безгласно,
Рыдают в книгах.

«Литьё» / The Cast

Папочка вернулся — слушать
Всё, что ты кидала в спину.
Он не мог поверить. Где же
Ты нашла слова? Не в жалах
Его пчёл? Для всех — их мёд,
Для него — стрела Амура,
Что в Пенемюнде скроили,
Дописал потом Брейгель.
Беспомощен, безголосен,
Как тень, он принял этот град —
Каждое твоё слово
В тело впилось, как в мишень,
И стоял он, привязанный
К позорному столбу, нагой,
Весь в стрелах — но не сломленный,
В бронзе поэзии строгой.

Твой крик о свободе стал
Его жертвенной немотой.
Каждая стрела — звезда
В твоём звёздном узоре. Глыба
Искажённого металла —
Вся его уродливая тень,
Как осколок, вынутый
Из старой раны. Отвергнут
Твоей плотью. Папочка —
Больше не твой груз. Слова,
Как фагоциты, рёвом
Выжгли боль. Ты исцелилась —

Исчезла из монумента,
Из бессмертной формы зла:
Тельца, пронзённого стрелами, Хоть
на нём — твоя кровь застыла.

«Кукольник» / The Ventriloquist

Мы вцепились друг в друга, как в плети,
И рухнули в кучу.
Твоя кукла в темноте спальни
Взвизгнула, как бич.

Ты вцепилась в шею мне,
Я сквозь терний лес бежал.
А кукла вопила в тени:
«Папаша – пропащий малый!»

Ты рыдала у меня в груди,
Я шагал сквозь речной лёд.
Кукла мать твою свела с ума —
Как морской Кракен, живёт.

Ты лежала, сражена,
Я к двери склонился, нем.
А кукла на крыше орала:
«Он с блудницей вдвоём!»

В ту же ночь кукла, как тень,
Пришла, убила — и нет.
Крикнув звёздам: «Смотрите!» —
«Свершился ваш ответ».

«Жизнь после смерти» / Life after Death
Что сказать мне, чего бы ты не знала
О жизни после смерти?
Твой сын — его глаза, что нас смущали,
Как у славянки или азиатки,
Разрезом век, но ставшие с годами
Так схожи с твоими, —
Стекленели, как камни,
Кристаллы боли, твердые, как пламя,
Когда я кормил его в стуле белом.
Громады горя, сжав его лицо,
Выкручивали мокрое полотнище. Но
предал рот — он принял покорно
Ложку в длани моей бесплотной,
Протянутой из жизни, где ты — тень.

А дочь бледнела, будто в забытьи,
Не зная, где та рана,
Что я скрывал,
Застегивая бретонский синий жакет.
А ночью я, как висельник, лежал:
Нерв шеи вырван, сухожилья
(Те, что держали череп
На левом плече) —
Скрутились узлами.

Мне чудилось — и боль моя ясна:
Я духом висел,
Крюком пробит под шеей.

Выброшенные в бездну тишины, Мы
трое в трех кроватях Застыли, как
в могилах.
Но волки нас утешили.
В те ночи — февраль, март — луна светла, И
Зоопарк казался ближе.
И, город позабыв,
Они выли для нас. Два-три раза за ночь,
Минутами подряд,
Они пели. Нашли, где мы лежим.
И динго, и гривастые — те, что в Бразилии, —
Всех голоса слились
С серой толпою северной.

Они подняли нас в протяжный вой,
Опутали, вплели
В свою потерю, в плач о нас и о тебе,
В свои голоса. Мы тонули в смерти твоей, В
снегу осевшем, под падающим снегом.
Мое тело в сказку провалилось,
Где волки поют средь сосен
О двух детях, что во сне
Стали сиротами
Рядом с телом матери.

«Руки» / The Hands
Две огромные руки
Качали колыбель твою.
Потом те же руки тихо
Подсунули таблеток грудь,
В перчатках — чтоб не узнать их.

Ты очнулась в больничной палате,
Тебе помогли разглядеть
Отпечатки пальцев в том, что свершилось. Ты
не верила. Трудно
Было поверить.

Позже — в стихах твоих,
Что они носили, как перчатки,
Те же руки оставили следы.

Те же — в предсмертных письмах,
Что они носили, как перчатки.
В тех словах, что метались быстрей губ
И до сих пор звонят в висках.

Порой мне кажется,
Что и ты сама была перчаткой,
Что сжимали они.
Порой мне кажется, что и я —
Онемевшая перчатка в ладонях тех же,
Выполнял, что велели, ведь
Отпечатки в моих поступках,
В твоих письмах, в стихах,
В том, что сделала ты, —
Одни и те же.

Отпечатки
На пустых перчатках… Вот они.
Рук уже нет.

«Призма» / The Prism

Волны у красивого Наусета —
Были солнцем океана, хрусталём,
Что лился сквозь пальцы. Колыбелью света
Был твой мир. Но что же стало потом,

Как ушла ты в снежную могилу,
В Пеннинских холмах, в объятьях зим?
Со мной твой камень — ясновидящий,
Мой невезучий талисман.

Гляжу — и вижу в глубине
Тот синий шар, где чайки блещут,
Где волны гладят песок вдали,
Уходящий на север,

Как путь израильтян сквозь тьму,
Под сводом грозового рока —
В землю обетованную, а в том краю
Идешь ты: смуглые плечи, чёрный купальник,

Навстречу морскому сиянию…
Где б ты ни была —
Ты смотрела сквозь эту призму,
Меж глиняных серёжек, за ярким

Блеском глаз — так ясно, так чисто,
Безупречный кристалл, святыня.
Он со мной. Я держу его —
«Волны у красивого Наусета».

Твоё нетронутое детство, твой Рай,
Где в отмелях — мечехвост, как знак,
Как печать самого Творца.
Я верчу призму — туда, сюда.

Там — ветер, плёнка морской пены,
Твои восторги, виденья в кристалле.
А здесь — навеки разбитый свет
В склепе снов, где тьма и прах
Под твоей плитою.

«Бог» / The God

Ты была как фанатик без Бога —
Без молитв, без святого огня.
Ты хотела быть писателем. Строго
Спросишь: «Писать? Но что во мне?»

Чья история просится наружу?
Чей голос в ночи шепчет: «Жги!»
Пиши — но о чём? Ты в Сахаре
Бушуешь в пустыне души.

Твои сны опустели. Ты плачешь
Над рассказом, что не родился,
Как над молитвой, что не звучит
Для Бога, что сгинул во тьме.

Бог мёртв — но грозит из могилы.
Ты — как аскет в песках,
Которых манил этот ужас:
Безбожный кошмар пустоты.

Он высасывал бесов из пальцев,
Из солнечных пылинок в окне,
Из скал, что глядят безразлично...
Их немой вопль был Богом.

Твой ужас пустоты — тоже Бог.
Ты несла ему стихи. Сперва —

Склянки соли из слёз, что капали
В пустоту и мерцали, как спектр.

Короста снов, что как пот
На камнях пустыни на зорьке.
Жертва — в никуда. Но скоро
Твой вой создал луну —

Ярый идол твоего Бога.
Ты носила её, как мёртвое дитя,
Как женщина, что целует в губы
Холодный рот — слезой на пальце.

Так я лелеял тебя, что лелеяла
Луну — мёртвую, но живую,
Что жгла тебя, как фосфор.
Пока дитя не шевельнулось.

Рот открылся. Кровь сочилась
Из твоей груди. Наш миг счастья!
Маленький бог вспорхнул в вяз.
Ты во сне, с остекленевшим взором,

Слышала шёпот. Проснулась —
И руки сами движутся. В ужасе
Ты смотрела, как они творят
Новую жертву: две пригоршни

Крови — твоей, с кусками меня,
Завёрнутыми в ткань рассказа,
Что выскользнул из тебя. Эмбрион сюжета.
Ты не знала, кто гложет твои пальцы.

Ночью в саду маленький бог
Рёв смешивал со смехом. Днём
Ты кормила его, под шатром волос,
В своей тайной кумирне. Шептала,

Барабанила пальцами, трясла
Раковины — искала голос моря,
Мне вручила талисман — шалфей В
Лютеровой Библии. Не могла

Объяснить. Сон разверзся. Тьма
Хлынула, как духи. Гробы
Твоих снов лопнули. Ослепший,

Я чиркнул спичкой —

И очнулся в твоей кумирне
С чужими руками, с чужим голосом, Вещающим сказ, что мне неведом. Голова кружилась от дыма

От костра, что ты стерегла.
Пламя, что я ненароком разжёг,
Белело в струе кислорода Твоего заклинанья.

Ты кормила огонь: миррой — матери,
Ладаном — отца, своей янтарной кровью...
И языки пламени рассказали сказ.
И вдруг все всё узнали.

Твой Бог втянул жирный чад.
Его рёв был, как топка,
Как гром под землёй. Ты писала
В ярости, в плаче, в трансе —

Твоя радость плясала в дыму.
«Бог говорит мной», — ты сказала.
«Не смей!» — я кричал. «Не смей!
Это страшная примета!»

Я сидел, глаза обжигая,
Глядя, как всё исчезает
В пламени твоей жертвы,
Пока и тебя не охватило.

Ты взорвалась, рассыпалась
В пламени сказки твоего Бога,
Что обнял тебя, и маму, и папу —
Твоего ацтекского, чёрнолесного

Бога, чьё имя — Горе.

«Свобода слова» / Freedom of Speech

В шестьдесят твоих лет, в свете свечек дрожащем,
Ариэль на руке восседает.
Ты кормишь его — чёрной, потом зелёной —
Виноградинкой с губ, будто тайно целуешь.

Почему ты так хмура? Все смеются громко,
Будто рады, что вновь собрались —
Старых друзей хоровод, новых призрачный рой,
Светила науки, поэты, врачи,

Издатели в чёрных пиджаках… Даже маки
Уронили багряный атлас.
Даже свечи, дрожа, чуть не гаснут от смеха.
Даже мама смеётся в больничных стенах.

Дети — с разных концов земли. Папа — из гроба.
Звёзды — им ведь не сдержать хохота.
А Ариэль?..
Что же Ариэль?
Ариэль счастлив быть рядом с тобой.
Лишь мы двое не смеёмся.

«Портрет Отто» / A Picture of Otto

Ты стоишь у доски: несостоявшийся
Лютеранский пастор. Твои догматы
Рая, Ада, Земли — пересмотрены
Ульем, где хозяева — пчёлы и матки.

Удар по твоей прусской выправке строгой,
Что смогла в стихи прорваться едва ли, —
Связаться со мной!.. Из гроба — вставали
Вы впотьмах штольни, где я, незнакомый,

Шёл искать твою дочь. Ты считал эти склепы
Родовым своим ломом. Но как ни гадал я —
Твой призрак с моей тенью сплетён нераздельно,
Пока её строки свечу зажигают.

В конце она вряд ли могла нас различить.
Твой портрет — как лицо моего же сына.
Я понял: тебе не отпустить её.
Я — целый миф, но слишком поздно, чем ты.

Здесь, в преисподней — её сердце. Дом.
Мы нераздельны. Нам не вырваться.
Всё прощено. Всё — общее. Только
Не её вижу за твоей спиною,

Но — как Оуэн после мрачного стиха,
Под сраженьем, в катакомбах кромешных,
Спящим рядом с немцем… Будто нездешним.
Будто — нет их.

«Пальцы» / Fingers

Кто вспомнит пальцы — их полёт?
Они парили в такт огню,
Что бился в ваших глазах.

За роялем, гремя хит,
Они шутили — клоунада,
Марионеток мёртвый стан.

Вы лишь к клавишам вели,
Но, если взгляд ловил восторг,
Они взвивались, как балет.

Как птицы в страсти тропиков,
Кувыркались, рвались ввысь,
Чтоб рухнуть в пыль, смешав с песком.

Танцоры вашей суеты!
Но точны в каждом жесте были —
Поймать помаду на губах,

Как молния скользит во тьме.
Дирижёры ваших дел,
Безумцы машинки пишущей,

Дух детства в каждом их движенье,
Шутя, играя, лёгким взмахом Дарили
мир espressivo.

Я помню ваши пальцы.
И пальцы дочки вашей
Хранят их в каждом жесте.

Её пальцы — вам в почтенье,
Как лары дома, как святыни,
Что вечно с нами здесь.

«Псы пожирают твою мать» / The Dogs Are Eating Your Mother

Это не мать — лишь тело её.
Она ринулась с нашего окна
И рухнула там. Это не псы,
Хотя и похожи на псов,
Терзающие её. Помнишь худого гончака,
Что мчался по тропе, высоко
Неся окровавленную глотку
И лёгкие лисы? Теперь гляди:
Кто встанет на четыре лапы
В конце переулка и, виляя,
Помчится к твоей матери,
Таща её останки, оскалив
Рычащие пасти, как псы?
Защитишь её — и тебя
Разорвут, будто ты — её плоть.
Сочтут тебя столь же
Сладостной добычей. Поздно
Спасать то, чем она была.
Я зарыл её там, где упала.
Ты играл у могилы. Мы клали
Ракушки и гальку с жилками,
Привезённую с Эпплдора,
Будто бы это была она.
Но гиена, дрожа, приползла
По ветру. Они отрыли её.
Теперь пируют на теле —
Рог изобилья её плоти.
Даже лицо на плите
Отгрызли, глотают украшения,
Глотают саму землю.
Оставь её.
Пусть будет их добычей. Беги —
Окутай голову снежными реками
Хребта Брукса. Закрой
Глаза вихрями зноя
С равнин Налларбор. Пусть они
Дёргают культями хвостов,
Рыгая в своих пиршествах.
Но представь её
Лучше — разложенной с молитвой
На высокой решётке для стервятников,
Чтоб те унесли её к солнцу. Вообрази,
Что эти костедробильные пасти —
Те самые, что трудятся
Для жука, что вернёт её в солнце.

«Красный» / Red

Красный был твой цвет.
Если не красный — значит, белый. Но красный
Ты оборачивалась, как платом.
Цвет крови. Была ли это кровь?
Или охра, чтоб греть мертвецов?
Гематит, чтоб навек сохранились
Драгоценные кости — фамильные кости.

Когда ты добилась своего,
Наша комната стала красной. Чертог суда.
Гроб для самоцветов. Ковер — как запекшаяся кровь,
С узорами сгустков и черных подтеков.
А шторы — как бархат рубиновых жил,
Как водопад крови с потолка до пола.
Подушки — те же. И та же карминная рана
Вдоль подоконника.

Комната-пульс. Ацтекский алтарь. Капище.
Лишь книжные полки бежали в белую прочь.

А за окном —
Мак, что истоньшен и хрупок, как пленка на ране,
Сальвии (в честь них отец дал тебе имя),
Как брызги крови из вскрытой вены,
И розы — последние всплески сердца,
Роковые, алые, обреченные.

Твоя юбка, как шлейф кровавых теней,
Пурпурный разлив.
Твои губы — как мак, окунутый в бездну.
Ты упивалась красным.

Я чувствовал его наощупь — как кромку струпа,
Как жесткий рубец. Я касался
Открытой вены в нем, ее корки-блеска.

Все, что ты писала, ты сперва хоронила в белизне,
А потом — захлестывала розами, топя,
Наклонялась над холстом, истекая розами,
Рыдая розами, и еще розами...
Лишь изредка — маленькая синяя птица среди них.

Но синий был твоим. Синий — это крылья.
Бирюза шелков из Сан-Франциско
Обвила твой живот

В горниле ласк.
Синий был твой светлый дух — не упырь,
А заряженный током хранитель, вдумчивый.

В этой яме из красного
Ты пряталась от белизны костяных палат. Но потерянный твой самоцвет — был синим.

ОТ ПРЕССЫ:

Читать "Письма в день рождения" — значит испытать психологический эквивалент "смятения". Книга опускает вас на такой уровень эмоционального давления, что скрытые истины печали и обреченности заставляют вас задыхаться".
Шеймус Хини, Irish Times

"Язык подобен лаве, ее расплавленные бури застывают в зазубренные формы, все еще горячие от земного ядра... Вы должны прочитать это".
Джон Кэри, Sunday Times

Стихи ослепительно выходят из темноты, и это не ответы его критикам, не призывы к пониманию, а нежные и элегические акты воспоминаний".
Никки Джеррард, Observer

Об авторе

Тед Хьюз (1930-1998) родился в Йоркшире. Его первая книга, "Ястреб под дождем", была опубликована в 1957 году издательством Faber and Faber, после чего последовало множество томов поэзии и прозы для взрослых и детей. Два года подряд он получал премию Whitbread Book of the Year за свои последние поэтические сборники Tales from Ovid (1997) и BirthdayLetters (1998). С 1984 года он был поэтом-лауреатом, а в 1998 году был награжден орденом "За заслуги".

Перевод: Е. Девяткин (2025)